

Евгений Пекки

Гуси, гуси...

повесть о былом, или 100 лет назад



Евгений Пекки

**Гуси, гуси... Повесть о
былом, или 100 лет назад**

«Издательские решения»

Пекки Е.

Гуси, гуси... Повесть о былом, или 100 лет назад / Е. Пекки —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-857312-5

Охота на гусей заставляет Женьку посмотреть на своего деда Диму другими глазами. Дед поведал ему о своей молодости, полной приключений. Любовь к Маше и ранняя женитьба проверяются жизнью и гражданской войной в России. Дмитрий защищает Царицын. Судьба сводит его с необычными людьми. Митя узнаёт о борьбе джиу-джитсу, это не раз ему спасает жизнь. Маша бежит к мужу. Они снова вместе, но из-за его ранения вскоре едут домой к мирной жизни. Рассказы об их приключениях — основа этой повести-хроники.

ISBN 978-5-44-857312-5

© Пекки Е.
© Издательские решения

Содержание

Пролог	6
На весенней Олонецкой равнине	6
Гуси летят	11
Полёт вдвоём	14
Последний бой	18
Часть I. Мыла Марусенька белые ноги...	21
На посиделки	21
У Комарихи	23
Кто ты есть	25
Кадриль	28
Манечка	31
Приказано жениться	34
Откуда в селе Кирсановы	36
Сваты	40
Рукобитье	44
Граммофон и брудершафт	47
Колечко на память	51
Завтра свадьба	53
Золотой пятирублёвик	56
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Гуси, гуси...

Повесть о былом, или 100 лет назад

Евгений Пекки

Редактор Нина Писарчик

Корректор Нина Писарчик

Иллюстратор Владимир Лукконен

© Евгений Пекки, 2017

© Владимир Лукконен, иллюстрации, 2017

ISBN 978-5-4485-7312-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Пролог

На весенней Олонецкой равнине

Говорят, что за весну на Олонецкой равнине разных пород гусей присаживается на отдых около миллиона. Сейчас, в начале мая, сотни столичных любителей пострелять по живому, десятки местных охотников, ещё и до полусотни иностранцев стараются оказаться вблизи старинного города Олонца. Чтобы отдаться добычливому делу, и вернуться домой с завидным трофеем, да после долго рассказывать друзьям, как легко свершился удачный выстрел.

Моё приобщение к охотничьему действию произошло благодаря деду, Дмитрию Петровичу Кирсанову, более пятидесяти лет тому назад. Когда он решил, что внук подрос достаточно, и впервые взял на весеннюю гусиную охоту, мне не исполнилось и четырнадцати лет. И потом, лет пять ещё, мы ездили с ним именно туда, на олонецкие просторы.

Всё там, на охоте, было замечательно. Это, наверное, одни из лучших минут моей жизни. Молодость и пробуждающаяся сила играли во мне, в каждой клеточке. Как охотничий щенок, я впитывал всю массу впечатлений. Причисляя себя к взрослым, понимал в душе, что многому ещё предстоит поучиться. У простых, на мой взгляд, и незамысловатых людей.

Интересно было жить рядом с дедом. Интересно приобщаться к таинству охоты, когда в руки можно трепетно взять настоящее ружьё и добыть настоящую дичь.

Благодаря этим выездам я мог слушать рассказы дедовых друзей, бывалых охотников. Доставляло истинное наслаждение погружение в атмосферу житья «при раньшем времени», которое уходило на глазах. Процесс этот шёл неуклонно, вроде бы не явно, так что не все и замечали. Свидетелей же прошлого с каждым годом оставалось всё меньше.

Расспрашивать дедов о грозных днях – гражданской войне, финской кампании, о жизни в оккупации или в партизанских рейдах было практически бесполезно. Дед мой и товарищи его были немногословны, хотя могли прокомментировать последние новости, услышанные по радио. Правильно ли, скажем, сделал Никита Хрущёв, сократив армию, и не за это ли его сняли? Будут ли опять взимать налоги за каждую частную корову, и вернётся ли налог на яблони?.. Откровенно же делиться личным желаящих было немного. Только на охоте иногда, у костра, вдруг прорывались воспоминания. Иной раз казалось, что окружающие дали зарок молчания. Часто на вопрос, заданный, что называется, в лоб, они ерошили мне с улыбкой волосы, приговаривая: «Много будешь знать, скоро состаришься», хотя бывали и вариации: «Меньше будешь знать, лучше будешь спать»...

К открытию охоты приезжали мы в одно и то же время, почти затемно, на неспешном деревенском автобусе. Переваливаясь по неровностям грунтовок и расплёскивая лужи, он, фырча, за полчаса довозил нас из Олонца в Туксу.

Деревни в Олонецком крае, шириной в один дом с огородом, стоят, извиваясь по течению речек или вдоль дорог. Думается, с водителем этого автобуса, похожего на катафалк, были знакомы все, поэтому он притормаживал у каждого дома, где нужно было кому-то слезть. Вот так, в первый для меня раз, высадились и мы со своими пожитками у калитки старого, потемневшего от времени карельского дома, каких большинство в деревне. Из дома выглянула хозяйка и, повернувшись, закричала по-карельски в сторону открытой в избу двери резким, даже, пожалуй, визгливым голосом. Позднее я понял, почему у пожилых карелок такие голоса. Очень просто – чтобы с подружкой, которая за речкой живёт, словом перекинуться. Ну, не ехать же к ней на лодке для этого. Такой тембр был слышен отчётливо метров за сто, а в тихую погоду – и за двести. Так что новости вдоль реки разносились очень быстро.

– Яшкой! Качу... Мийтрей Петрович приехала, брийха ривёз, – кричала она, видно, по привычке, что хоть уши затыкай. И уже обращаясь к нам, и вытирая руки о фартук:

– Тэрве тулэ, Мийтрей. Тулэ тяннэ. Тулэ, тулэ, кодима прохходи.

– Что она говорит? – спросил я деда.

– Да это по-карельски – мужу сказала, что я парня, тебя, то есть, привёз, и в дом приглашает.

Перебивая её, у крыльца бешено лаял посаженный на цепь тёмный лохматый пёс, в котором явно преобладала кровь медвежьих карельских лаек, его предков. – «Что, Вейка, не узнал старого друга?» – подошёл к нему дед без боязни. Тот с рычаньем припал к земле, но потом выпрямился, завилял хвостом, виновато прижал уши и стал тереться своей дымчатой шкурой о дедовы сапоги. Был он тут же дедом обласкан и потрепан за уши.

Мы неспешно поднялись по широкой деревянной лестнице двухэтажного дома. Я только крутил головой, настолько всё для меня было внове. Кто бывал в карельских деревнях или ещё дальше – на Поморском Севере, тот, конечно же, встречался с этим, веками сложившимся способом строить бревенчатые дома. У них под одной крышей объединялось всё: и хлев для скотины, которая жила внизу, и комнаты, в которых, бывало, жило и по три семьи, сеновал, дровяник и прочие необходимые в деревенском быту постройки. Говорят, что этот способ выживания в северных условиях привезли с собой ещё новгородские ушкуйники. Есть, правда, и другая версия, что это ушкуйники у карелов подсмотрели, а уж потом начали такие же избы строить у себя, на новгородчине.

Нам навстречу выскочил хозяин в натальной рубашке.

– Мийтрей Петрович, хювя илта. Сопрался к нам – это хювя, харрашо. Суксей отин раз ссего был. Я тумая, может, севодня приедете? Траствуй, тэрве... – говорил он, перемешивая карельские и русские слова, обнимая деда за плечи и похлопывая по спине.

– Тэрве, тэрве, Яша, здравствуй. Приехали, как видишь. Разве открытие можно пропустить? А это внучок мой, Женька.

– Траствуй, Женька, тэрве. Меня Яков Фомич зовут. Мы с твоим дедом двадцать лет назад, в Ильинском, такие дела, было, творили, такое заворачивали... Ну, давай сидор да в избу проходите.

– Чего давай? – переспросил я, не поняв.

– Рюкзакними, – улыбнулся, подсказывая мне, дед.

Миновав сени, мы вошли в просторную, хорошо протопленную горницу, ярко освещённую электрической лампочкой, висевшей под потолком прямо на шнуре. Три входа, без дверей, вели из горницы в комнаты. В самой меньшей мы и расположились.

– Сюльви, на стол собирай, ужинать пора.

Жена Якова захлопотала, выставляя свои домашние яства, а мы с дедом, сполоснув руки, присели к столу, который непривычно стоял вплотную к стене, между двух окон. Старые товарища сели напротив друг друга, а мы с Сюльви уже ближе к печке. Дед и Яков делились новостями, иногда вспоминали эпизоды из прошлой жизни, которые начинались словами:

– А помнишь, Яша?..

– А помнишь, Петрович?..

С интересом слушал я обрывки воспоминаний, хотя кое-чего они явно не договаривали. Обоим достаточно было полуслова, чтобы окунуться в минувшие лета, когда один был не старым, а второй – ещё моложе. То время они вспоминали с удовольствием. По-моему, у них даже глаза светились.

Я как-то спросил деда: «Когда вы с друзьями встречаетесь, я вижу, вам нравится вспоминать свою жизнь. Неужели тогда всё было так хорошо?». – «Нет, внучек, не всё хорошо было, а временами просто паршиво, но мы были молодыми, нам хотелось жить и сделать жизнь лучше. Порой казалось, что всё удаётся. Вон, у Якова сын уже полковник, в Калининграде

служит, дочки у меня тоже образованные, внуки уже есть, пенсии на жизнь хватает. Чего ещё желать-то? А потом, знаешь ли, память имеет особенность... помнятся лучшие моменты... Кто-то нас выручил, или от смерти удалось уйти, или вместе мы что-то хорошее сотворили. Совсем уж хреновые дни и тогда были. Было их, внучек, ох, немало!.. Да чего вспоминать-то? Помянем, бывает, рюмкой тех, кто до светлых дней не дожил, да и опять что-то доброе вспомнить хочется».

Весьма проголодавшись, я уплетал с удовольствием рассыпчатую картошку. Доставали её деревянными ложками из большой миски, где она лежала дымящейся горкой. Масла сливочного, к которому я привык, на столе не видно, но зато сметана была такая, которой я в жизни не едал. Она казалась чуть розоватой, в небольшом глиняном горшочке, и такой плотности, что попытка вылить хоть бы толику не удалась. Она таяла на языке. Цепляя ложкой и сдабривая этим вкусно пахнущим чудом размятую картошку и солёные грузди, я закусывал всё карельской ватрушкой. С непривычной начинкой из горячей пшённой каши, она носила ещё и смешное название: «калитка». Хозяйка ласково смотрела на меня. Ей явно нравилось, как я отдавал должное её стряпне. Вскоре закипел самовар, а у мужиков закончилась бутылка «Московской», которую дед выставил на стол. Мы принялись пить ароматный чай, из пачки «со слонном», заваренный в фарфоровом чайнике с ядовито-малиновыми цветами на пузатых боках, который был установлен на верхушке самовара.

Я тогда впервые ощутил, что значит хороший чай, на хорошей воде. С тех пор люблю этот древний напиток, с которым кофе сравниться, по-моему, не может. А, впрочем, зачем их сравнивать? Разница в приверженности к разным напиткам, даже у родственных народов, всё же имеется. Если в Финляндии предпочитают кофе всему остальному, то в Карелии, конечно же, чай держит первое место. Здесь его и чтят, и различают по сортам. У каждой хозяйки свой способ заваривания и своя культура чаепития, которая в средней России во многом утрачена. Чай в Карелии любят крепкий и иронизируют при этом над москвичами. В каком-нибудь, самом захудалом, карельском доме могут спросить: «Вам заварку по-нашему или по-московски?».

Наконец я услышал, что разговор старых приятелей перешёл на гусей, ведь именно гусиная охота и была целью нашего приезда.

– Петрович, не сомневайся, всё готово, – говорил убеждённо деду Яков. – Засиды я сделал на ржаном поле, гусь туда каждый день на кормёжку прилетает. Жаль, что не сказал ты про внучка. Придётся ему, по первости, в телеге ждать. Ружьём, я так понял, ты его пока не снабдил. Пусть сначала посмотрит, что к чему, а потом что-нибудь придумаем. Сейчас пусть лучше идёт, вздремнёт маненько, через три часа поедем.

Я плюхнулся в маленькой комнате на кушетку, не раздеваясь, и мгновенно отключился от действительности. Лёгкое потряхивание дедом моего плеча пробудило меня. Тут же я вскочил, пытаюсь сообразить, что происходит.

– Давай, охотник, умывайся да чаю стакан выпей.

Когда я это сделал, мы надели телогрейки и сапоги и вышли на крыльцо. В деревне, освещаемой полной луной, как прожектором, стояла тишина. Только собаки иногда взирали, то в одном конце деревни, то в другом. У крыльца стояла лошадь, запряжённая в телегу с большим ворохом сена на ней. Мы закинули в телегу мешок с припасами, дедово ружьё и уселись на скамью, на передке сел Яков. Чуть тронув лошадь вожжами, он почти неслышно повёз нас по ровной грунтовке, уходящей за деревенские заборы, в поля с перелесками.

– Как лошадь твою зовут, дядя Яша? – спросил я хозяина.

– Руськой кличут, – отозвался он.

– А почему Руськой? – удивился я, – она ведь не русая, а тёмно-гнедая.

– Вот поэтому, – буркнул Яков.

Когда мы тронулись, дед тихонько нагнулся ко мне:

– Это Сюльви лошадь назвала. Она первая жеребёнка на руки взяла, когда лесхозовская кобыла жеребилась. «Руска», это по-карельски – «коричневый».

«Вот это да, – подумалось мне, – так, может, и название зайца – „русак“ – от карельского слова происходит? Заяц, и правда, коричневатый, а не русский вовсе. А к русским у него косвенное отношение».

Минут через сорок мы остановились.

– Петрович, давай устраивайся, тут твоя засида.

Я слез с телеги, посмотреть, что за место предназначено для деда. «Засида», как сказал Яков, была сделана в канаве, прорытой для осушения полей. Позднее я узнал, что они называются мелиоративными. По дну канавы хлюпала вода, по щиколотку, и Яков зарыл обрезанную по кругу двухсотлитровую бочку, сплюсненную в овал, где было сделано сиденье для охотника. Дед достал из рюкзака жилет из брезента, на котором сзади нашиты длинные карманчики. Надев его прямо на телогрейку, застегнул на пуговицы, одёрнул, подвигался – удобно ли... Яков принёс веток, наломанных с куста, и понатыкал в эти карманчики. Когда дед сел в бочку, от соседнего куста его было не отличить. Перед ним стояли заранее вкопанные Яковым небольшие кустики, так что, если положить на бруствер руки, а на них голову, лица охотника не было видно. Дед установил перед собой ружьё и коробку с патронами.

– Ну, Яша, теперь дай бог, чтоб прилетели.

– Не сомневайся, Петрович. Я вчера к вечеру по гонам проверял – свежего много было, и погода подходящая.

Потом Яков достал со дна телеги, из-под сена, фанерные профили гусей и установил вблизи дедовой засиды. Я их насчитал восемь штук. Профили были хорошо разрисованы масляными красками – отсвечивали в лунном свете их крашенные бока.

Завершив работу, он сел в телегу со мной и отъехал метров на восемьдесят, где для него была сделана точно такая же засида, как у деда. Справа, метрах в двадцати, рос довольно раскидистый ивовый куст на краю канавы. Он велел мне привязать лошадь к кусту и спрятаться под сено, а сам установил профили, вблизи от себя. Закрепив вожжи, я умял сено в телеге, накрывшись с головой большим ворохом, в котором прокопал небольшое отверстие, чтобы наблюдать за происходящим.

Тишина стояла над олонецкой равниной, светили звёзды, хотя стало чуть-чуть брезжить на востоке. Лежать в сене было хорошо. От его аромата и от чистого воздуха у меня слегка кружилась голова, и я снова задремал. Вдруг с западной стороны, откуда мы ждали прилёта гусей, захлопали дальние выстрелы. По звуку, до них было не меньше километра. Через пару минут над телегой, со свистом машущих крыльев, пролетели два гуся – разведчики, мгновенно скрывшиеся в темноте. Прошло минут десять тягостного ожидания, когда до боли в глазах я всматривался в начинавшую сереть темноту, пытаюсь разглядеть, есть ли в небе гуси или нет. Наконец от горизонта, где на конце огромного поля чернела полоска леса, послышалось неясное гоготание. Оно то становилось слышнее, то, как бы, перекатывалось правее. Послышались опять хлопки выстрелов, по всей линии горизонта. «Га-гак, га-гак, га-гак», – вдруг прозвучало прямо надо мной, и я увидел налетающую прямо на меня, идущую на снижение стаю больших, тёмных, на фоне светлеющего неба, птиц. Когда я их увидел, до них было метров семьдесят, не больше. Послышалось шевеление слева. Это Яков встал, уже не таясь, во весь рост. Гуси начали было отворачивать вверх и влево от него, но... Два выстрела разорвали небо грохотом и вспышками от вылетевших зарядов. Один гусь падал со сложенными крыльями, как неодушевлённый предмет. Он упал в пяти метрах от засиды Якова, ударившись грудью, так что в стороны брызнула мягкая земля. Раздался ещё выстрел. Это дед стрелял в угон, развернувшись в своей бочке. Гусь вывалился из разлетающегося в стороны косяка и боком упал позади нас, хлопая одним крылом и приподнимая носатую голову. Вторым выстрелом дед его добрал.

Яков шустро выскочил из бочки и подбежал к гусям, лежавшим на пашне. Заострённую палочку, с концом в виде вилки, он воткнул в землю, оперев на неё голову убитого гуся. Кажется, что гусь сидит и осматривает окрестности. Второму он подпер шею посерединке такой же палочкой, только короче. Этот изображал теперь гуся кормящегося. Всё заняло не больше пяти минут. После он впрыгнул в свою бочку и затаился. Это он сделал вовремя: опять от горизонта донеслись хлопки, и послышалось гоготание, гораздо громче. Я сообразил, что на нас идёт не стая передового отряда, как в первый раз, а основной эшелон. Десятки косяков шли в нашу сторону, теперь уже ясно видные в заметно посветлевшем небе. «Га-гак, га-гак», – всё явственнее слышалось по всему горизонту.

– Га-га-га-гак, га-гак, га-га-га-гак, – вдруг громко раздалось со стороны засиды Якова.

«Как похоже, – подумал я, – если не знать, что это манит охотник, решил бы, что за кустом гусак сидит и подругу кличет».

Четыре или пять косяков налетали на нас, идя на снижение. Га-га-канье Якова звучало всё заманчивее. Две стаи, миновав нас, снизились до самой земли. Они рассаживались на кормёжку за профилями со стороны деда. Стая птиц, до двух десятков, сделав один круг над полем перед засидами, пошла на второй... Мне из-под сена хорошо были видны расставленные лапы серых гусей, которые, махнув по паре раз крыльями в обратную сторону, с размаху садились на пашню. Они тут же начали клевать какие-то корешки, остатки ржи, чистили перья и ходили туда-сюда, с изумлением, как мне казалось, поглядывая на профили и на гусей, подпертых палочками. Два сторожевых гуся по краям стаи зорко поглядывали вокруг и оберегали покой остальных.

Яков начал медленно поднимать своё ружьё. Ему это удалось сделать, не спугнув осторожных птиц. Дед, в своей засиде, не шевелился, очевидно, опасаясь помешать товарищу.

«Бац, бац...» – дважды бухнуло ружьё слева от меня. Это отдупились Яков, дождавшись, наконец, когда несколько гусей сойдутся так, чтобы их шеи перекрылись выстрелами. Два гуся были убиты наповал, один, ещё, трепыхался. Сидя, Якову было неудобно перезаряжать ружьё, и он поднялся. Стая шарахнулась от него, гуси, после двух-трёх шагов пробежки по пашне, встали на крыло, но стрелок уже перезарядил ружьё и послал два выстрела вдогонку уходящим вверх птицам. Расстояние было убойное, и большой гусь вывалился из стаи.

Дед понял, что таиться теперь ни к чему. Развернувшись, он дал дулет по гуменникам, которые уже начали взлетать. Два матёрых гуся осталось лежать на пашне.

Сердце у меня прыгало от радости, адреналин стучал в каждой жилке. Мне никогда не доводилось присутствовать при такой охоте. Рябчиков я уже стрелял не раз, но теперь было куда интереснее. Выстрелы грохотали отовсюду. Оказалось, что охотники от нас не так уж далеко, метров за двести-триста, не более. Порой слышно было, как шлёпает по соломе или веткам куста падающая на излёте дробь. Руська даже шарахнулась раз, когда несколько дробинок шлёпнулось по её коричневой лоснящейся шкуре.

Гуси летят

Солнце поднялось уже высоко. Перелёт гусей на поля закончился, а с ним и основная охота. Ещё кое-где слышны были выстрелы, похожие на позднее эхо канонады, которая была два часа назад.

Мы свернули с поля на дорогу, ведущую вдоль леса, и Руська бодро затопала по ней. Охотники компаниями устраивались на отдых, разводили костры, некоторые уже принимались драть перо с битых гусей. Там и сям, среди деревьев леска, можно было разглядеть машины. Это сейчас, в новом веке, джипы – «Лендроверы», «Ландкрузеры» и «Тойоты» с «Хондами», не говоря уже о «Нивах» – обычный транспорт на охоте. Тогда же – начинавший появляться в продаже «Москвич-408», который валил внешним видом на малолитражный «Форд». В основном же по обочинам стояли старенькие «Москвичи-407», а то и «401», походившие на довоенных «Фольксвагенов», да выдавшие виды «Победы». Редко встречавшиеся «Волги», с оленями на капотах, выдавали, что на охоте присутствует и партийное начальство, из какого-нибудь горкома или райкома. Военные на пенсии, те предпочитали «Газ-67», называемый в народе «Виллис» или, почему-то, «бобик». Встречались трофейные «Опели» и «BMW». Офицеры, продолжавшие служить, приезжали на «Газ-69», которые величались «козликами». Народ всё был приезжий, большей частью из города. Деревенские, что жили поближе, топали пешком, дальние добирались на мотоциклах. Тяжёлый мотоцикл по тем временам был для деревни почти царский транспорт.

В котелках, висящих над костерками, уже булькало немудрящее варево. Разливалась припасённая водка. Охотники поднимали тосты за встречу и поздравляли, наиболее удачливых, с трофеями. Иные хвастались оружием перед друзьями. В начале шестидесятых, кроме «тулок» и «ижевок», довольно много было ружей, поступавших из Германии по репарации, да и трофейных. У деда моего был такой репарационный «Зауэр», подаренный за хорошую работу от Министерства лесной промышленности. В те времена ружьё было достаточно частым и весьма почётным подарком за трудовые успехи. Никакого разрешения для этого не требовалось. Яков, к примеру, из Венгрии, где он закончил войну, привёз в качестве трофея бельгийскую двустволку «Льеж». Это было в порядке вещей. Разбирать выгравированные надписи на незнакомых языках и догадываться о назначении клейма – тоже было одним из охотничьих ритуалов, в котором были свои знатоки.

Охотники, показывая навыки, частенько палили влёт по уже опустошённым бутылкам, которые подкидывали в воздух товарищи. Когда я увидел эту забаву, стали понятны частые выстрелы, хотя утренний лёт гусей уже закончился. Казалось, что я нахожусь в каком-то охотничьем братстве, на весёлом празднике. Наверное, так оно и было. Многие узнавали деда и Якова, приглашали к своему биваку. Иные шутливо спрашивали:

– Петрович, что ж ты не на «Победе»? – зная, конечно, что дед на пенсии, а машины за трудовую жизнь не нажил.

Он отшучивался:

– На кобылке привычней, да и для дичи спокойней.

С некоторыми дед с Яковым здоровались, не слезая с телеги, к другим подходили, чтобы пожать руку или обняться, но от наливаемой водки вежливо отказывались. Залезая в телегу, после, как мы отъезжали, я интересовался, что это за люди. Дед всегда отвечал: или сразу, или немного задумавшись, как бы роясь в памяти. Было видно – когда-то этих людей он знал хорошо. Всегда называл нынешнюю должность или ту, в которой он человека запомнил. «Начальник стройуправления... районный прокурор... сторож со зверофермы... лесничий... механик с лесозавода... тракторист, – иногда прибавляя отчество, или чем запомнился человек, – Иван Максимыч, пенсионер, в войну диверсионным отрядом командовал».

– Герой? – спросил я.

– Не трус, это точно. Был неудачный рейд, который стал последним для его отряда. Он один назад пробился. Весь отряд за линией фронта лежать остался. Пять лет потом Максимыч в лагерях отмантулил, а потом у меня на лесосплаве работал.

– Он, что, был виноват в гибели отряда? – изумился я, глядя на крепкого ещё мужика с седой бородой.

– Был бы шибко виноват – расстреляли бы.

– А, если не виноват, за что сидел?

– Значит, какую-то вину не сумел с себя снять, время было такое, – вздохнул дед. – Этого, с лысиной, в кирзачах, видишь? Это Гаврилыч. Он сейчас зав. кинотеатром работает, коллективизацию здесь проводил в конце двадцатых.

– Уважаемый человек?

– Для кого как. Это с чьей стороны смотреть. Тогда как было? Одни – с раскулаченных сапоги сдирали да на себя надевали. А другие, к примеру, без сапог на Кольский полуостров город Кировск поехали строить.

– Туда, где дядя Аркадий наш живёт?

Дед утвердительно мотнул головой и печально вздохнул. Я начал уже догадываться, что и этот замечательный дядька, который в далёкой Мурманской области работал на огромном комбинате, вырабатывая апатит для удобрений, тоже на Севере оказался не по своей воле. В школе мы проходили, что все кулаки были богатые и злые, использовали чужой труд и на бедных наживались. А ещё они убили пионера – Павлика Морозова, который был герой.

– Неужто, он тоже был кулаком? – спросил я про дядю Аркадия. – Он же тогда маленький был... Он же добрый, весёлый, какой же он кулак?

– Родителей его сослали, а он уж там родился, когда ссыльные обустриваться начали. А ты себе как кулаков представляешь? По картинкам в журнале «Крокодил»? Должны ходить в лаковых сапогах, с ножом в зубах и обрезом в руках? А хозяин фабрики – непременно в цилиндре и с мешком денег за спиной?

Так, неспешно, мы подъезжали к костерку, у которого сидели на пеньках трое. В стороне стоял грязно-зелёного цвета мотоцикл с коляской. Потом я узнал, что это был трофейный «Цундап». Дед соскочил с телеги и с распростёртыми руками пошёл навстречу такому же, как он сам, но лысому, белобровому деду, который протянул навстречу длинные, нагруженные руки с узловатыми пальцами.

– Здравствуй, Стёпа! Жив ещё? Как я рад тебя видеть!.. Охоту, гляжу, не забываешь. Мне говорили, приболел ты, крепко, а ты, вон, здесь.

– Тэрве, Мийтрей, – заулыбался тот, – каждому карелу бог Юмала за неделю охоты полгода жизни дарит. Только тем, кто ханхен ленто встречает в поле.

– Я уже подзабыл карельский. Что это – «ханхен ленто»? – переспросил дед.

– Я по-русски тебе каварю: КУСИ ЛЕТЯТ!

– Ты, Стёпа, лаконичен, прямо как Юлий Цезарь. Хорошо ты это сказал: «ГУСИ ЛЕТЯТ!». Всё ясно. Как тут дома усидишь? Больше и добавить нечего.

Дед обнялся со вторым, что был помоложе, которого он назвал Мишей, потом протянул руку Алексею, средних лет кряжистому мужику. Яков тоже с ними поздоровался и залопотал о чём-то по-карельски. На брезентовом плаще была разложена немудрящая снедь: варёная картошка «в мундире», несколько яиц, зелёным пучком лежал болотный лук, какие-то лепёшки и эти вкусные ржаные карельские калитки. Рядом, под кустом, лежали настрелянные за утро гуси.

– Неплохо отстрелялись, – одобрительно заметил дед, доставая свой саквояж со съестными припасами.

– А у вас как? – поинтересовался Алексей.

– Загляни под сено, – пригласил его Яков, который начал уже рассёдлывать лошадь. Тот подошёл и присвистнул.

– Ну, вы даром время не теряли.

– Кто рано встаёт, тому Бог даёт, а кто поздно глаза продирает – тот чужой стол вытирает, – продекламировал дед.

– Всё у тебя, Дмитрий Петрович, прибаутки, а ведь и мы не поздно встали. Однако так, как Яков гусей манит, у нас немногие могут. Как, ты меня учил, дядя Митя, в таких случаях говорить? – припомнил Алексей. – С полем вас, Дмитрий Петрович и Яков Гаврилыч.

Дед заулыбался, тут же подхватив:

– А вас, мужики, со сладкой водочкой.

Это было для меня ещё одна новинка в охотничьем ритуале.

– Дед, откуда ты эту поговорку взял?

– Бывало, у нас баре на охоту съедутся, а любили они перепелов пострелять, а то и на дудаков поедут. Так обязательно, если какой-нибудь из них удачный выстрел сделает, первому, кто поздравил с добычей такими словами, бутылку водки дарили.

– Ты, что, и помещиков помнишь, и как они охотились?

– Всё я, внучек, за свою жизнь помню.

– А что ж ты мне так мало рассказываешь?

– Сначала казалось, о чём говорить-то? Жизнь как жизнь. Да и не про всё можно рассказывать. Малой ты был ещё. А сейчас гляжу – кое-что, пожалуй, можно и поведать – поймёшь и не осудишь. Всё меньше нас остаётся, из прошлого века, не от кого услышать, как всё на самом деле было.

– Ага, одни учебники по истории останутся, – подхватил я сдуру.

– Да ведь и учебники частенько врут.

– Как это? Не может быть, – изумился я, – история ведь одна?

– Одна. Только книжки живые люди пишут. Здесь подправил, здесь умолчал, глядишь, совсем другая история получается.

Все вместе мы присели к немудрящему охотничьему столу. Мужики стали выпивать и закусывать, мне, по молодости лет, водки не полагалось, и я пил горячий чай из эмалированной кружки, наливая его из закопчённого чайника и уплетая калитки с картошкой, намазанные сверху солёной щучьей икрой. Потекли затем у моих старших товарищей разговоры и воспоминания. Даже немногословный карел Степан Неволайнен иногда вставлял словцо.

– Женька, а ты знаешь, что это из-за Степана я в Карелии оказался? – вдруг спросил меня дед.

– Откуда мне знать? Никто не говорил.

– Он ведь мне в гражданскую, когда мы с Деникиным воевали, жизнь спас. Вот, я потом и решил пожить в краю, где настоящие мужики живут.

Дед с охотниками выпил за Степана и своё счастливое избавление от смерти. В котелке, тем временем, поспела гусятина с картошкой, и мы начали растаскивать её по мискам. Блюдо было, как мне показалось, вкусноты необыкновенной.

– Жень, а ведь я, можно сказать, из-за гусей в Красную армию пошёл, – вдруг сказал изрядно захмелевший дед.

– Как это? – изумился я, – ты меня, дед, в который раз удивляешь.

– Вот так, как-нибудь расскажу, а то ни черта вы о нашей жизни не знаете. Ты только мне напомни. Сейчас другие разговоры есть.

Полёт вдвоём

День завершался. Мы всласть выпались на свежем воздухе, навёрстывая упущенные минуты короткой предыдущей ночёвки.

Попрощавшись, покинули бивак наших друзей и двинулись дальше, за поле, где были ещё не высохшие лужи. Это места кормёжки крякв, куликов и прочей водоплавающей и болотной живности. По дороге Яков научил, как охотиться с подмогой лошади. Я спрятался с дедовым ружьем в телеге под сено, и Руська тихонько тронулась в сторону спокойно сидящих метрах в ста уток. Оказалось, что подпускают они лошадь, по крайней мере, метров на двадцать пять. Ближе и не требовалось.

Дистанция для стрельбы – лучше и желать не надо. После первого моего дуплета стая не сообразила, что происходит, поэтому я, уже разогнувшись, смог перезарядить «Зауэр» и отстреляться ещё раз, по оставшимся сидеть. Оценил я и Руську, которая не боялась выстрелов и мирно жевала пожухшую траву, иногда поглядывая на происходящее вокруг. С пятью утками, едва не лопаюсь от гордости, вернулся к ожидавшим меня деду и Якову. Дичи было набито, для первого дня, более чем достаточно. Мои мужики решили ехать домой, а по пути заглянуть в совхозную чайную. Это был небольшой крюк, лишних два километра. Однако за разговорами и воспоминаниями друзей-стариков дорога не показалась скучной. Когда мы подъехали к чайной, там было уже полно народу – всего-то она вмещала человек двадцать. Только название «Чайная», а так обычная, на мой взгляд, сельская столовая, где можно съесть дежурные щи, а на второе получить расплзшиеся тёплые макароны с сухой котлетой, наполовину из хлеба, щедро политой луковым соусом. Мужики заходили сюда по выходным и по праздникам, в основном, попить пивка, которое завозили в настоящих дубовых бочках. Чтобы налить кружку, нужно было поработать ручкой насоса. Имелся там, на разлив, и портвейн №33, и водочка трёх сортов.

Сельские женщины не жаловали эту чайную и появлялись там редко. Но, если муж пропал из дома, ясно было, где искать. Нам повезло. Как раз две энергичные карелки, не стесняясь в выражениях, вытащили своих мужиков из-за стола и, награждая тумакami, направили к выходу. За ними потянулись другие, сидевшие за общим столом. Неожиданно освободилось четыре места, что деда с другом очень устраивало. Они расположили свои кепки на стульях и встали в очередь за пивом.

Дверь чайной распахнулась от удара ноги, и ввалилась компания молодых людей, бывших изрядно под хмельком. Одному, в сапогах гармошками, над которыми нависали запровленные в них серые брюки, было лет двадцать пять. Другой, высокий парень лет двадцати, в невиданной мною раньше чёрной форме и в чёрном же берете, и ещё двое, лет семнадцати-восемнадцати, не больше. Оглядев помещение, старший, судя по всему, вожак, сразу шагнул к нашему столу.

– Пацан, давай, выметайся отсюда, рано тебе пиво пить. А, может, ты портвейна ждёшь?

Все они захохотали. Из-под меня выдернули стул, так что я едва не шлёпнулся на пол.

– Я не портвейн, я деда жду, – дрожащим от обиды голосом пролепетал я.

– Вот на улице и подожди, – заржал он, усаживаясь на моё место, прочие стали рассаживаться тоже.

В это время с кружками пива подошли дед с Яковым и поставили их на стол.

– Ошибочка вышла, молодые люди, – произнёс дед, – за этим столом мы сидим. Вот и кепки наши.

– Это мы сидим, а вы пока стойте. Кепочки можете забрать, они нам на фиг не нужны, – загоготал старшой, сверкая золотыми фиксами.

Он достал из серого пиджака пачку «Беломора», вынув папиросу, постучал ею по пачке и закурил. Я заметил, что у него на правой руке, на пальцах, вытатуированы два перстня.

– Садись, Васёк, – обратился он к парню в форме, – продолжим праздник, ты же недаром два года этих обормотов защищал. Теперь гуляй, Вася.

– Те, кто родину защищает, сейчас на Кубе, а не в пивных дедам грубят, – вмешался Яков. Тот, в чёрной форме, с разными значками на груди, обиделся и заорал:

– А я, что, на Дальнем Востоке карамельки сосал? А ну, извинись, старый пень, а то плохо будет.

– Это что за форма на тебе такая? – спросил строго мой дед.

– Морская пехота, чтоб ты знал!

– Ни хрена ты, на своей службе, не понял, раз на стариков замахиваешься.

– Я сам «старик». Я – дембель. Слышал такое слово?

– Сосунок ты, а не «старик».

– Давай выйдем на улицу, – заревел деду в лицо морпех, пьяно брызгая слюной.

Я стоял ни живой, ни мёртвый, понимая, что будет драка, и вряд ли смогу помочь своим.

– Вы тут не хулиганьте, – пытался утихомирить их Яков.

– А то что? Вы нас в угол поставите? – перебил его фиксатый, и все они опять заржали.

Мужики в пивной, прекратив разговоры, наблюдали за происходящим. Было видно, что они не одобряют молодчиков, но вмешаться не решаются.

– Что, дед, ссышь? – громко хмыкнул морпех.

– Хрен с тобой, пошли, только не сбеги, – вдруг согласился дед и направился к выходу.

За ним пошёл небрежной походкой морпех, следом встал старшой, потом Яков, повалили и остальные. Я протиснулся тоже.

Когда спустились с крыльца, и дед сделал шагов пять под горку, его остановил морпех.

– Не надо далеко ходить, и так всё ясно.

– Пожалуй, – согласился дед, развернувшись.

Морпех схватил его за отвороты телогрейки, прикидывая, очевидно, как лучше свалить.

– Бить я тебя не буду, старый ты, а вот поклониться мне придётся, – пьяно ухмыляясь, проговорил верзила в форменке.

– Крепко держишь, и не вырваться, – вдруг съехидничал дед. Руки его висели вдоль тела.

– Что он делает? – Со страхом подумал я, – зачем злит? Ведь парень-то здоровый и выше деда.

– Крепче держи, а то не удержишь, – снова сказал дед, слегка отступая назад.

– Удержу, – сквозь зубы выдавил морпех.

У него даже пальцы побелели... Вдруг дед рывкнул ему в лицо, да так, что вокруг все вздрогнули:

– Полундра!

Сам он схватился за форменку со значками, которые полетели на землю, и резко, спиной, опрокинулся назад, под горку. Правая нога его упёрлась в живот морпеха. В момент, когда дед лопатками, с согнутой колесом спиной, коснулся земли, я увидел, как его правая нога с силой разогнулась. Противник перелетел через него и грохнулся во весь свой рост. Дед же, перекатившись через голову, вскочил на ноги и встал над поверженным, со сжатыми кулаками.

В это время на горюшке, ближе к пивной, где стояла толпа растерянных зрителей, раздался крик:

– Бей их, мужики!

Началась драка. Хотя на драку мало похоже. Было избиение. Золотозубому вожаку дали в ухо, и его кепочка серым блином покатила по земле. Когда он хотел ответить обидчику, его ещё раз ударили, по затылку, так, что он упал на колени, и тогда его начали бить сапогами

деревенские мужики. Видно было, что он здесь всех достал. Двух малолеток, что были с ним, нахлопали по ушам и выпроводили пинками.

Минуты две морпех ничком лежал на земле, видно, расшибся о каменистую горку. Открыл глаза, перевернулся на спину и увидел деда в стойке.

– Сынок, ты не расшибся? – участливо спросил дед.

– Ни хрена себе, музыка, – пробормотал тот, мотая головой, – а ты, дед, не прост.

– Извиниться не хочешь?

– Ну, извини...

– Не «ну, извини», а «извините, пожалуйста»... – Увидев, как сверкнули глаза поверженного, а мышцы плеч начали перекачиваться под форменкой, добавил, – не извинишься, будешь лежать на земле, я лежачих не бую, но встать не дам.

Толпа, бросив лупить золотозубого, сгрудилась вокруг них.

– Извинись лучше, Василий, неправ кругом, – крикнул кто-то.

– Извините, бес попутал, – сдался дембель.

Послышался тяжёлый треск, и у чайной лихо развернулся милицейский мотоцикл. Милиционер в синей форме, с серебряными погонами старшего лейтенанта, обутый в хромовые сапоги – понятно, что явился участковый.

– Что за шум? – спросил он.

Мужики загалдели, каждый по-своему объясняя происходящее.

– Всё, помолчите, сам разберусь.

Мужики замолкли. Он подошёл к фиксатому, который вытирал кровь с лица носовым платком.

– Что, Петя, выпросил, наконец, у населения благодарность?

– Ничего, это сегодня они храбрые – «энкаведешника» откуда-то чёрт принёс, а там опять на моей улице праздник будет.

– Посажу, и не будет у тебя никакого праздника, а сплошные трудовые будни на зоне.

Что тут за «энкаведешник» объявился? – спросил он, подходя к деду.

Я понял, почему татуированный так назвал деда. Защитного цвета телогрейка и чёрные суконные галифе, заправленные в блестящие сапоги, сбили с толку бладаря. Участковый только приложил руку к козырьку, намереваясь потребовать документы, дед вдруг бросился к нему.

– Ревенко, ты?

– Дмитрий Петрович, отец родной. Да ты ли это?

– Как видишь.

– Опять воюешь?

– Пришлось, хоть и не хотелось.

– В гости заходи, хозяйка рада будет.

Он заметил морпеха, который собирал с земли потерянные значки.

– Васька, а ты тут что делаешь? Всё не нагуляешься? Ведь третий день пьёшь. Мать стол накрыла, невеста с родителями к вам пришла, а ты с шелупонью этой связался. А ну, садись в коляску.

Через минуту мотоцикл укатил, треща и воняя выхлопом по посёлку. Мужики вернулись в пивную обсуждать происшествие. Сели за стол и мы. Пока старики пили своё пиво, я опустил бутылку крющона, и мы поехали на Руське к Якову домой.

– Дед, что за приём ты показал этому парню? Это что, самбо?

– Не знаю, я самбо не изучал.

– А что же это?

– Такая борьба у японцев, джиу-джитсу. Говорят, у китайцев похожая есть. Этот приём «томоз нагэ», по-японски, называется. Если перевести, будет, примерно, как «полёт вдвоём».

Я слышал мимолётом, что была борьба с таким названием в начале века. Но нас всегда уверяли, что самбо, изобретённое в Советском Союзе, гораздо лучше. О восточных единоборствах и слышно не было.

– Вот здорово! И ты этой борьбой владеешь?

– Да что ты! Для этого несколько лет заниматься нужно. Два десятка приёмов я видел, а три знаю, как следует.

– Где же ты научился? У нас ведь этого не преподают?

– Японец один показал.

– А японца где нашёл?

– Китайская рота у нас в полку была, рядом с нашей ротой стояла. Это ещё в Гражданскую. В этой роте один большой умелец служил. Он мастером был, настоящим. Что успел мне показать, я на всю жизнь запомнил.

– Когда это? Какие китайцы? Разве они за красных воевали? – изумился я.

– В гражданскую, да, ещё как воевали. И латыши, и мадьяры, и немцы, и финны, и китайцы – за красных воевали. Ну, не все, конечно, но много. Ты – про «Интербригады» – слышал? Вот такая китайская рота у нас воевала. А японец к ним случайно затесался. Вояка был хоть куда.

– И что с этими китайцами стало?

– Слышал я, деревню они заняли и прикрывали отход наших. На них казаки генерала Улагая налетели, рубаки отменные. Саблями посекали их, всех до единого. Да, я гляжу, вас не очень хорошо в школе учат. Ты вон отличник, а многое не знаешь... Всё знать нельзя, но стремиться надо, – улыбнулся дед, – ты меня чаще спрашивай. Я, что помню, расскажу.

Начинало до меня доходить, что не всё ладно в прошлом, хотя газеты и кинофильмы убеждали: «жить стало лучше, жить стало веселее»...

Мне интересны были эти оставшиеся в живых люди, каждый со своей судьбой, своей историей, хотя толком не понимал, что дед мой – и есть частица осязаемой, не из учебников, а настоящей истории страны, где мне довелось родиться. На охоте, чаще у костра, когда мы бывали вдвоём, он рассказывал кое-что из своей жизни. Набравшись впечатлений, я любил заглядывать в специальную литературу, пытаюсь оценивать события, происходившие за сорок-пятьдесят лет до моего рождения.

Постепенно из воспоминаний деда, дополненных бабушкой Марией Ивановной, сложилось целостное повествование. В начале двадцатого века они оказались в самой гуще событий, которые изменили не только быт их семьи. Менялся весь мир. И это не просто хроника жизни моих предков, но часть истории моей страны, моей родины.

Последний бой

Частенько я приставал с расспросами:

– Дед, а ты Ленина видел?

– Нет, лично не довелось.

– А Сталина?

– Видел, в девятнадцатом году, но помню плохо. Он тогда на меня впечатления не произвёл.

– Как это? Ведь в ваше время его называли «великий вождь всех времен и народов».

– Это уже позже, после гражданской, когда Ленин умер, а тогда, в девятнадцатом, членом Реввоенсовета он, конечно, был, но героями совсем другие люди были. Ты про Сорокина когда-нибудь слышал? А про Думенко, про Махно?

– Махно же бандитом был.

– Хорош бандит, с четырьмя орденами Красного Знамени, а их тогда зазря не давали.

Я всё пытался добиться, не жалеет ли он, что Октябрьская революция произошла. Отвечал он по-разному. Для себя я понял, что не всё, что делали «красные» и Советская власть, было ему по нутру, однако он поверил в идею всеобщего равенства и благоденствия, которых без революции быть не могло. Мой детский вопрос: «А как бы вы без революции жили?» – вызвал у него улыбку.

– Да так бы и жили – не тужили, – отвечал он.

– Так ведь до революции в России голод и нищета были, а страной кровавый царь и буржуи управляли, – получив твёрдые жизненные установки из советских учебников, всё допытывался я до истины.

– Что-то я голода до революции не припомню. Мы хлеб растили, излишки продавали – на это жили. Во дворе у каждого скотина да птица. Какой голод? Вот в двадцать пятом, в двадцать восьмом и в начале тридцатых, вот тогда голод был. В тридцать втором даже новое слово появилось: «голодомор». Вот институт при царе вряд бы я окончил, – рассуждал он, – и дети мои в университетах тоже бы не учились. Так может, и не всем надо туда? Кто-то и на земле работать должен?

– А рабочие? Они же боролись за свои права.

– Боролись, как сейчас помню, это ты верно говоришь. Забастовки были – требовали пятидневную рабочую неделю, как в Англии, чтоб увольняли только через профсоюз, как в Америке.

– Так ведь добились своего.

– А, может, без революции ещё быстрее бы добились... Ты хоть помнишь, когда шестидневку в СССР ввели? Когда выходные появились? До середины тридцатых выходных дней у нас было пять... – он сделал паузу, – в году. А остальное время – работали на благо родины.

– Так ведь разруха была.

– А кто её устроил, царь? Или, может, банкиры и заводчики, прочие буржуи? Им неразрушенные заводы были нужны. А зарплата, у рабочих, какая была? Даже сейчас не у каждого такая есть.

– Дед, ты с двадцатого года партийный, а мысли у тебя не большевистские.

– Что ж, я оценивать ситуацию не умею? Не зря мне Советская власть высшее образование дала. Да и время сейчас другое: кое-что можно вслух сказать.

В моем детском сознании дед всегда был большим лесным начальником, который летом ходил в белоснежном кителе и белой фуражке с бархатным зелёным околышем, а когда шёл по посёлку, все с ним здоровались. Родители мои были людьми образованными. Отец – геолог,

а мать в университете преподавала. Я никогда не задумывался, кто были их родители, к какому социальному слою они относились. Поэтому спросил деда о происхождении его семьи.

– Да из крестьян я, внучек, из обыкновенных крестьян.

– Ты не всегда лесом командовал?

– Да что ты. До этого много всего было. Узнаешь ещё, не всё сразу.

Много лет спустя, после смерти деда, я как-то подумал, что будет неправильно, если я своим внукам не поведаю – кем же был мой дед, как жил, что творил, о чём думал, на что надеялся. Люди должны помнить о своих предках, о делах их, славных и не очень.

Деда своего, Кирсанова Дмитрия Петровича, я в последний раз видел незадолго до его смерти. Он лежал в больнице для ветеранов. Поместили его в отдельную палату, куда переводили безнадежных пациентов. Он иногда пытался встать и даже говорить, но дни его были сочтены.

Я заканчивал учёбу в Москве, в Академии. Когда экзамены были сданы, и я, как тогда говорили, «вышел на диплом», появились три свободных дня и возможность махнуть в родной Петрозаводск. Когда я вошёл в палату, конечно, дед меня узнал. Слёзы потекли по его щекам с трёхдневной щетиной. Потянулся ко мне, отмахнувшись от пакета с фруктами и пирожками.

– Женька. Приехал всё-таки. Перед смертью всё же повидались мы. Я-то думал, тебя не увижу, – шептал он, когда я обнимал его, придерживая за спину, чтобы посадить, – мне ведь совсем недолго осталось.

– Ну, что ты, дед, – успокаивал я, – выкарабкаешься. Не такое бывало. Мы ещё на гусей с тобой съездим.

– Нет, – помотал он головой, – не увидеть мне больше, как гуси летят.

Его стал бить кашель, который перешёл в приступ астмы, и я нажал кнопку на стене. В палату быстро вошла медицинская сестра с инструментами для укола, после которого заявила безапелляционно:

– Посещение заканчивайте. Время вышло. Больному, кажется, ваш разговор не на пользу.

Дед сквозь кашель сделал мне знак: останься. Я заверил её, что долго не задержусь, и опять нагнулся к нему. Он понемногу остановил свой удушьющий кашель.

– Просрали мы, Женька, революцию! – вдруг неожиданно ясно сказал он. – Эх, жаль, годы уже не те.

– Что случилось, дед? – изумился я такому заявлению, прикидывая, как на его рассудке могла сказываться болезнь. Однако дед был в своём уме. Немного пожевав губами и набрав воздуха, он продолжил свою мысль.

– Как же мы не заметили, что вырастили партийное барство? За сладкими речами наших же партийных засранцев... на шею простым людям уселись говнюки. Плевать они хотели на народ. С трибуны одно, а на деле – другое. Да разве за это мы сражались? Начинать надо всё по новой. Андропыч было взялся, да здоровья у него не хватило. Нельзя давать превращать себя в быдло, запомни это. Хотя, не дай вам Боже искупаться в крови. Делайте всё так, чтобы никогда не пожалеть о том, что вы сделали.

Когда я выходил из палаты, та же дежурная сестра, не сводя глаз с моих капитанских погон, спросила:

– Это, правда, ваш родной дед?

– Правда, а в чём дело?

– Он позавчера нам тут такое устроил...

Из её сбивчивого рассказа я понял, что дед забрёл по ошибке не в свою палату, где они лежал вдвоём, с другим ветераном войны, а в палату этажом выше, где находился на профилактическом обследовании секретарь обкома партии.

В то время в Карелии продуктов давно уже не хватало. В обороте было более двадцати видов талонов на продукты питания, без которых ничего не продавалось, и жизнь с каждым

днём становилась хуже. Убранство палаты и еда, которая лежала на столе партфункционера, были в резком контрасте с тем, что было на обед у других.

Дед мой начал было говорить, что партийный руководитель должен быть скромнее и жить, как все, а тот сказал старику: «...кажется, ты выжил из ума!». Оба были искренни в своих эмоциях. На угрозу секретаря «убрать» старого коммуниста из больницы, старик назвал его «недобитой контрой» и «гнидой». Секретарь кнопкой вызвал медперсонал. Прибежали медсёстры, на подмогу вызвали санитаря, но дед не дал себя спеленать. Он покинул секретарскую палату, плюнув напоследок на пол. Дмитрий Петрович пообещал, взяв свою суковатую палку наизготовку, что переломает кости каждому, кто до него дотронется. Так от него и отстали. К вечеру у него схватило сердце. Через неделю, так и не оправившись от стресса, дед мой умер.

Заканчивался тысяча девятьсот восемьдесят пятый год. У власти уже был Горбачёв, повеяло духом больших перемен в обществе и в мире. Дед немного не дожил до начавшейся вскоре «перестройки» и, думаю, не всё бы принял из нашей сегодняшней жизни. Не одобрил бы, скажем, развала СССР и не понял новых фильмов о Колчаке и прочих белогвардейцах, ему ближе были Чапаев и Будённый. Что страна нуждалась в переменах, понимал даже он, человек, в самом раннем периоде принявший революцию и кровь проливавший за её идеалы.

Даже сейчас молодёжь с интересом смотрит фильмы «Неуловимые мстители» и «Рождённая революцией», время молодости моего деда не стало менее героическим. Дед был не старше героев фильмов, и приключений в его жизни хватало. Его поколение работало и сражалось, отстояло Родину в величайшей из войн и поставило её на ноги. Были победы, были и ошибки. Судить проще, но у всех нас, россиян, общее историческое прошлое.

Вечная нашим предкам память!

Часть I. Мыла Марусенька белые ноги...

На посиделки

Лунная ночь, лёгкий морозец. Улица слабо освещена светом из окон. В иных домах горят под потолком керосиновые лампы, у кого-то – свечи, а где – только лампадки подле икон. Под сапогами Митяя скрипел первый, только выпавший снег, а за православным храмом, возле которого сияли фонари, приветливо светились окна большой избы дьяконицы Комарихи. Посиделки тем вечером были сговорены у неё. Митяй шёл не один. Он едва поспевал за тощим, длинноногим Егоркой, троюродным братом, который был годом его старше. Под стареньким зипуном тот держал балалайку, сберегая от снега.

В северном конце деревни посиделки собирались в одной из четырёх изб, по установленной очереди. У стариков Косоротовых, у татарки Фирюзы, да и у шорника Василия Гмыри Митяй не раз уже был, а к Комарихе шёл впервые.

Тот период жизни, когда парня девушки начинают волновать, и для него потихоньку наступал. Для деревенского паренька тех лет посиделки – не просто место, где собирается молодёжь, где интересные истории рассказывают да песни поют. Ещё возможность пообщаться с девушками, сплясать с ними, глядя в блестящие от малой толики бражки глаза. А порой можно прижаться в кадрили к разгорячённой щеке или тугой груди. На деревенских посиделках и науки галантные проходили, и невест выбирали. Были и летом гуляния. Девчата вместе, за ними парни гурьбой, но это, всё же, любование издали – присматривались только друг к другу. А вот посиделки – совсем другое дело.

Попасть на посиделки – это здорово! Это будоражило кровь больше, чем кулачные бои. С тех пор, как Егорка сводил его впервые, Митяй ждал посиделок с нетерпением. Егорка на посиделках везде желанный гость, даже на другом конце деревни парни его не трогали и откупного не требовали. Будучи из бедной семьи, Егорка не мог угнаться за другими в праздничной одежде. Хорошо, хоть рубаху новую из кумача мать справила. Сыну восемнадцать стукнуло, не сопляк уже. А на другое – где взять? Дай бог до следующего хлеба дожить, по миру не пойти. В работники его не больно-то брали.

Слабоват Егорка был здоровьем: и от недокормицы, и сложением в отца пошёл, а потому выдыхался быстро. Какой с него работник в наймах? Но сметливостью и способностями бог его не обидел. В приходской школе всегда он был из первых, хоть по письму, хоть в счёте, и голос дан ему звонкий, и слух тонкий. Бывало, после церковной службы, как певцы с клироса разойдутся, старенький приходской священник, отец Михаил, Егорке две-три просвирки даст. И напутствует: «Это тебе, Егорий, за способности. Придёт и твоё время. Нос не вешай. У Бога всего много. Найдётся и для тебя в жизни радость, но искать её надо самому».

И Егорка искал. Понимал он, что, хоть в ребячьей ватаге, хоть на посиделках с девушками, с его одёжкой и тощим телосложением он не будет на равных. А может стать предметом насмешек. Так, скрипя зубами и упираясь над учебниками, обошёл он почти всех в школе и преуспел в церковном хоре. На посиделки музыкантов пускали без взноса, да и на свадьбе или именинах человек, играющий на инструменте, был всегда в почёте. Первый человек, это ясно, гармонист. Только где было Егорке гармонь взять, при их-то житье горемычном? Игру на гармони он освоил быстро. Когда гармонист на свадьбе либо на крестинах уставал, а то и нагружался вином так, что пальцы в нужные кнопки не попадали, Егорка мог заменить легко. Музыкальные способности и постоянная практика на чужом веселье позволили освоить самые разные гармоники, будь то рязанская «тальянка», тамбовская «ливенка», татарская гармошка «казанча» или немецкий «хармоншпиллер» фабрики «Hohner». Но что за музыкант без

своего инструмента? Выпросил он в прошлом ещё году у деда Митрохи старенькую балалайку и всё лето премудрости игры на ней осваивал, помогая деду общественную бахчу охранять. К осени Егорка мог соревноваться с самыми известными балалаечниками деревни, не только перенимая их игровые коленца, но и сочиняя свои. Ясно, что на посиделки его звали загодя. А на тех, где Егорка играл, народу всегда бывало побольше, и больше тех, кто побогаче.

Егорка, бывало, и раньше с собой его звал, а Митяй то по хозяйству занят, то на кулачках ему под глаз фонарь повесят или губу расквасят – куда уж тут пойдёшь. Да и мать, известная своей прижимистостью, видно, после смерти мужа туговато ей пришлось, больше двух копеек на воскресенье не давала. А что такое две копейки семнадцатилетнему парню? С одеждой, правда, она не скардничала. Больше, конечно, Митяю от старших братьёв переходило, из чего они уже повырастали, но и с обновлениями грех было обижаться. Мать не раз приговаривала: «Принимают-то по одежке да по обхождению. Провожают, верно – по уму, дак ведь могут и на порог не пустить, ум-то показать. Дети мои все должны быть справные, что парни, что девки. Мы – не гольтыба какая-нибудь. К нам завсегда с уважением». Кирсанова и хозяйством, и всем семейством управлять умела. Соседки звали её: Евдокся, видно, чтобы от других отличать – Дуся и Дуняша рядом жили.

Шли хлопцы спешно. На ходу Егорка делился впечатлениями от предыдущих посещений Комарихиных посиделок.

– Там мне больше всего нравится, – говорил он. – Ты не жалея, что потратился. Впервых, Комариха не бражки, а вишнёвого винца наливает. От него весело и вкусно, и голова наутро не болит. А потом, сени, у неё, какие...

– Да что сени-то?

– Ну, Митяй, ты и тютя.

– Схлопочешь по сопатке, узнаешь, какой я тютя.

– Да не журишь ты. Ты вот лучше скажи, за титьки девок тискал? А под подолом шарил?

– Нет, толком ещё... – покраснел юноша. – Так только, пока полечку или падеспань танцуешь, так и приобнимешь, да не за бока, а вроде чуть повыше.

– И хорошо ли?

– Аж, дух захватывает, будто на санях с горы летишь. Да только девчата сразу по руке шлёпнут. А то вот на прошлых посиделках Дуняша Старовойтова и вовсе танцевать со мной перестала.

– Так ты ж при всех её облапал. Что о ней другие-то парни подумают? Ей ведь замуж когда-нибудь выходить. У Комарихи, поэтому, совсем другое дело. Молодёжь к ней на посиделки, что постарше годами, ходит. Два-три танца станцуешь – и с девчонкой в сени, чтоб остудиться, подышать... А вот тут-то, и титьки у неё погладишь, или по заду, а то и поцеловать какую удастся.

– Что, ни от одной, отказу нету?

– Ты же не безглазый. Пока танцуешь, ужели не видно, люб ты ей, али нет?

– И то верно.

У Комарихи

Подталкивая друг друга и похохатывая, парни подошли к забору заветной избы, в которой светом горели все окна. Слышно было, как пиликает гармошка, время от времени перебиваемая взрывами заливистого смеха.

– Снег стряхни, – шепнул Егорка Митяю, кивнув головой на веник, стоявший у порога. Митяй обмахнул свои начищенные сапоги, а Егорка заплатанные, но так же сиявшие от ваксы чёботы, и приотворил входную дверь, которая короткобрякнула колокольцем. Они поднялись по высокому крыльцу, прошли просторные сени и открыли тяжёлую дверь в горницу.

– Здорова будь, Елизавета Апполинарьевна, – поклонился хозяйке, дьяконовой вдове, Егорка. – Пустишь ли, двух добрых хлопцев погреться? А то продрогли мы, ужас как.

Митяй сдёрнул картуз и тоже поклонился ей, потом, на всякий случай, поклонился налево, где на скамье вдоль стены сидели нижнедобринские хлопцы, почти все с их Пореченского конца, того же, что и он, возраста, хотя были и чуть постарше. Потом поклонился направо, вглядываясь в колеблющийся от керосиновых ламп полумрак избы. Там, на такой же скамье, сидели девчата, кто с вязаньем, а кто рушник вышивая. Иные шерсть пряли с веретёнцем. Одна, русоволосая, крутила ногой прялку, сматывая клубок... явно, гордячка.

Подружки вполголоса переговаривались, а то вдруг запевали незатейливую деревенскую песню, не забывая о рукоделье. Приход наших молодцов не остался незамеченным. Девчата между собой заперешёптывались, прикрывая рот, запосмеивались. Митяй от смущения повернулся и, наткнувшись глазами на иконостас, возле которого теплилась лампадка, на всякий случай перекрестился.

– Чего ж не пустить-то, если добрых, – усмехнулась, оглядывая их, дородная хозяйка лет сорока, с искрой в карих глазах, – проходите, будьте ласковы.

Широкая, в пол, тёмно-синяя юбка с выглядывающими из-под неё лаковыми полусапожками на каблучках выдавали в ней женщину, которая весьма следит за своей внешностью. О том же говорила и новая, приталенная белая кофта в мелкий синий горошек, с обтягивающими рукавами, сшитая на манер, как у казачек. Толстая каштановая коса умело уложена вокруг головы и заколота шпильками с блескучими камушками, в ушах посверкивали рубиновые серёжки.

– Ну, с чем пришли?

– Я с музыкой, – весело отозвался Егорка, доставая из-под заплатанного кожушка свою балалайку.

– А ты с чем? – повернулась к Митяю Комариха.

– Вот, это, – протянул ей Митяй медный пятак, – а это обществу, – и выложил на поднос два кулька: один с леденцами «ландрин», только появившимся в продаже в соседнем городе Жирнове, а другой с орехами.

Всю пятницу, чтобы это купить, он таскал мешки с пшеницей на мельнице у Фридриха Бореля, богатейшего немецкого колониста, который держал не только мельницу, но и элеваторы для зерна, и хлебопекарни. Хоть и не бедно жили Кирсановы, а лишних денег в крестьянском хозяйстве не бывает. Так что на удовольствия приходилось подрабатывать в людях. Кто ж тебе дома-то заплатит, хоть в лепёшку разбейся?..

– О, да ты жених, я вижу, завидный, с понятием, – заулыбалась Комариха. – Ну, проходи, не стесняйся, снимай свой тулупчик да иди вон к хлопцам. Да смотри, в избе не курить. Чей же будешь-то?

– Кирсанов, Дмитрий.

– Кирсанов-Турчонок? – назвала известное уличное прозвище дьяконица.

– Нет, мы Кирсановы-Петрушковы, – отозвался Митяй.

– А, знаю-знаю. Это ведь твой дед Григорий под Плевной воевал, а отец, Петруха, с японской не воротился?

– Они самые.

Пока Митяй мялся у двери, Егорка уже скинул кожушок и, присев на табурет в дальнем углу большой комнаты, сияя своей кумачовой рубахой, начал тренькать на балалайке. Рядом сидела, не сводя с него восхищённых глаз, какая-то девица. С другой стороны, тоже сидя на табуретке, тихонько пробовал лады рябой гармонист с соломенными волосами, в тёмно-синей свитке. Гармошка попискивала, изредка вспыхивая в отсветах лампы перламутровым узором, позванивали украшающие её колокольчики. Девчата, что сидели вдоль стены, задвигались, убирая своё рукоделье.

Кто ты есть

Митяй, сбросив тулупчик на полати чисто выбеленной русской печи и повесив картуз на вешалку рядом, пригладил волосы и подошёл к парням, сгрудившимся у противоположной стены.

– Здоровы будете, – поздоровался он.

– И поздоровей видали, – отозвался высокий парень в синей косоворотке, подпоясанной тонким кавказским ремешком с набором, и чёрном пиджаке. Чувствовалось, что он тут верховодит. Митяй видал его и раньше, всё же на одном конце деревни жили, но близко не водились. – А магарыч где?

– Это за что же?

– За вход.

– Так я Комарихе и денег дал, и ландрину.

– Так это Комарихе, и ландрин – девчатам, а парней, что, не уважаешь?

– Смотря каких...

– А, таких, как мы?..

– Не знаю, как других, а тебя – нет.

– Что ж так? – С удивлением спросил белобрысый и, уже с угрозой, добавил: – Аль давно по сопатке не получал?

– Сам получить не боишься?

– Ого, – с усмешкой обернулся тот к окружению, – да наш осетёр на язык востёр! Вот красной юшки хлебнёшь, поглядим, как запоёшь. Пойдёшь со мной на кулачки, или по-другому меряться будем?

– Можно и на кулачках.

– Может, поборетесь?

– Вы лучше бы по-татарски – на поясах.

– По-казацки, с подножкой.

– Нет, по-черкесски, – подсказывали доброхоты, – а то, что ж за вечерка потом, с битой мордой...

– Ну, пошли за избу.

Парни гурьбой повалили из избы.

– Куда вы, а танцы? – всполошилась было Комариха.

– Да мы покурить, – отбрехнулись из толпы. – Скоро будем.

Погода на улице стояла чудесная. Полная луна освещала заснеженный двор не хуже, чем лампа комнату Комарихи.

Парни встали полукругом. В центре – двое спорщиков.

– Ну, иди сюда, качура. Буду тебя уму-разуму и вежливости учить.

– Не нукай, не запряг, – огрызнулся Митяй, у которого в предчувствии драки захолонуло в груди, но боязни он не испытывал. Думал только, чтоб сзади кто не толкнул или ногу не подставил. Он здесь был чужаком. Не таким, конечно, как с другого конца деревни, с Амбарного или, скажем, с Немецкого. Однако хорошо знакомым был только Егорка, а тот что-то замешкался в избе.

– Как биться будем? – спросил белобрысый, скидывая пиджак. – В рукавицах или так?

– У меня рукавицы в избе остались.

– Дайте ему рукавицы кто-нибудь.

– Держи, паря.

Он обернулся. Свои чёрные голицы протягивал ему незнакомый парень. Митяй их натянул, постукав кулаком об кулак. Его противник натянул такие же, только некрашенные. Они

встали друг против друга. Остальные придвинулись почти вплотную, в предвкушении близкой драки. Одновременно выкрикивались правила боя, чтоб потом споров не было.

– Драться до первой крови. Лежачего – не бить, ногами не лягать, из круга не убегать.

В Нижней Добринке, где кулачные бои, по самым разным поводам, были делом нередким, бойцы перед поединком сходились друг с другом вплотную. По устоявшемуся обычаю мальчишеского поединка, бойцы, соприкоснувшись лбами, некоторое время давили лоб противника, как петухи. Они обходили, таким образом, полный круг, затем отпрыгивали назад и поднимали кулаки, держа их на уровне плеч, головы слегка пригибали. После начинали наносить удары, сначала по корпусу противника, всё сильнее и сильнее, а уж расходившись, метили в голову. Так было и на этот раз.

Когда обменялись несколькими ударами, Митяй почувствовал, что перед ним противник постарше. Удары его были тяжелы, аж, рёбра трещали, а от иных приходилось отступать на шаг, а то и на два. Митяй тоже не впервой стоял против бойца в кулачном бою. Наставлял его кузнец Вавила. Некоторые уроки Митяй запомнил накрепко, и они, бывало, выручали в трудную минуту. Манера драться устоялась в деревне годами. Чаще всего били в лоб. Реже боковым ударом целились в ухо или в висок. Чтобы как можно сильнее ударить, руку заносили на полный разворот и выпрямленной били по голове наотмашь, затем, точно так же, другой рукой. Это походило на действия косца или лесоруба. Уклоняться от удара было не принято. Так воспитывалась удаль. Но закрыть голову руками или воротом верхней одежды было можно. Дерясь на кулачках рядом с Вавилой, другом покойного отца, Митяй приглядывался к его манере. На их Пореченском конце Вавила был одним из лучших бойцов и побеждал мужиков сложением значительно крупнее себя.

– Ты, Митюха, не гляди, что кто-то здоровее тебя, хотя с бугаём биться и не сахар, – учил он. – Гляди, куда ловчее ему двинуть. Ежели он выше тебя, научись левым кулаком бить под ложечку или под дых. Если мало одного раза, этой же рукой бей и по второй, а когда он согнётся, или опустит руки от боли, и начнёт ртом хватать воздух, правой добивай его.

Был ещё ряд премудростей, скажем, как «юшку из носа пустить», поскольку чаще всего на этом бой и заканчивался.

У Митяя левое ухо уже горело от крепкого удара, а в голове начинало гудеть. Поэтому, увидев замах белобрысого, он подставил навстречу не плечо, как делало большинство, а локоть. Эта была ещё одна премудрость Вавилы. Рука противника с размаху налетела на кость локтя, вместо того, чтобы в очередной раз проверить на прочность голову Митяя. Удар получился встречный. Белобрысому было гораздо больнее, чем Митяю, даже лицо скривилось. Левая его рука по привычке уже замахивалась, чтобы ударить, так же наотмашь. Он и четверть секунды не простоял так, с распростёртыми руками, лицом к Митяю. Резкий удар «под ложечку» заставил белобрысого согнуться почти пополам. После удара Митяя правой из его длинного носа на белый снег закапали густые капли крови.

– Хватит, хватит с него, – послышались крики. – До первой крови ведь договаривались.

Да Митяй и не думал добивать неожиданного соперника. В тот же миг появился Егорка. Или не видел он, что за конфликт назрел в избе, или не захотел вмешиваться, но до конца драки из избы не вышел.

– Бог ему судья, – подумал на это Митяй.

– Ну, как ты? Крепко досталось? Здорово ты его разделал, – тараторил товарищ, помогая снять рукавицы.

– Что ж ты, Филя, Митяя не узнал? – обратился Егорка к побитому парню, – он же наш, добринский, с Пореченского края. Митяй за добринских не раз на кулачках с красноярскими или медведицкими бился. Ты не смотри, что ему только восемнадцать стукнуло, он с мужиками наравне в стенке стоит. Его кузнец Вавила кулачному бою учил, – частил Егорка, оглядываясь на белобрысого.

Тот прижимал к разбитому носу горсть снега, стараясь не капать кровью на праздничную рубаху.

– Где ж ты раньше был, заботливый такой? – Процедил он сквозь зубы, потом повернулся к Митяю. – Я с мужиками ещё, стенка на стенку, не ходил. Один на один только приходилось. Среди погодков в нашем конце мой верх всегда был, – он взглянул укоризненно на Егорку, – говорили, есть у наших, пореченских, Митяй Петрушков, который на кулачках драться крепок. Дак он, что ли, и есть?

– Он самый, – подтвердил Егорка, – Митяй Кирсанов. Петрушков – это по-уличному. Он брат мне, имей в виду, – тут же добавил, поглядывая на крутые Филины кулаки.

– Что-то я у тебя братьёв не помню, – буркнул Филипп.

– Он же троюродный. Ты и не можешь всю мою родню знать. Нас ведь много. С Митяем ты замиришь.

– Мы, вроде, и не ссорились, так, кулаками померяться решили.

– Тогда руки друг другу подайте.

– Ну, что, мир? – протянул Филя руку Митяю.

Кровь из носа капать перестала, холод, видно, помог, а вот губы чуть припухли.

– Мир, – улыбнулся Митяй и тоже протянул руку.

– Ну, вот и славно, – захопотал опять Егорка, – самое время винца попробовать, да и танцы начинать.

Парни гурьбой повалили в дом по высокой лестнице.

– Намёрзлись поди? – встретила их Комариха, – молодые люди, а не отведают ли нам винца?

Кадриль

Парни начали выстраиваться у левой стены. Девушки встали у стола, за которым сидела Комариха. Митяй понял, что здесь уже выработаны свои правила и ритуалы, которых нужно придерживаться. Он занял место в середине левой шеренги. На столе у Комарихи был небольшой, начищенный до зеркального блеска медный подносик с чеканным узором по краю, на котором стояла большая гранёная рюмка на фигурной ножке. Комариха брала квадратный штоф, в котором колыхалась тёмная жидкость, вспыхивая на гранях стекла рубином, и наливала из него рюмку почти до краёв, потом клала рядом фигурный пряничек.

Ближняя к столу девушка, взяв поднос двумя руками, несла его в центр комнаты, куда уже неспешно подходил парень. Они встречались на середине, после чего она с поклоном подавала ему рюмку, говоря: «Чихирь в уста вашей милости, на доброе здоровье».

Парень медленно выпивал рюмку, ставил на подносик, отламывал половину от пряника, после чего говорил: «Красота вашей чести. Спасибо, барышня, за угощение», – и тоже кланялся ей. В ответ она кланялась вновь: «На доброе вам здоровье», – и, повернувшись, возвращала поднос с рюмкой на стол, а оставшуюся половинку пряничка клала в рот.

Затем всё повторялось со следующей парой, и до тех пор, пока всех парней винцом не обнесут. Если же парней было больше, чем девчат, а разница могла составлять два-три человека, не более, поскольку Комариха регулировала процесс, оставшимся парням вино подносили вновь те, с кого начиналась церемония. Или кто-нибудь из девчат спешил к столу, чтобы самой поднести вино понравившемуся кавалеру.

Музыканты тем временем наигрывали что-то весёленькое: «Ехал на ярмарку ухарь-купец...» или «Коробейники». Им самим по чарке, конечно же, наливали в первую голову, без всяких церемоний.

Это преддверие к танцам было интересно само по себе. Митяю сначала казалось, что девушки подносят всем одинаково, а очерёдность – как уж получится. Потом заметил, что иные менялись местами, чтобы поднести угощение понравившемуся парню. Скоро дошла очередь и до него. Когда его сзади подтолкнули в спину, услышал шёпот: «Иди, давай, Митя, чего застыл...». Он, стараясь казаться бывалым, с независимым видом двинулся к центру комнаты. Молоденькая девушка, одетая в цветастый сарафан, уже несла подносик с высокой рюмкой. Руки её слегка дрожали, щеки от волнения покрылись пунцовым румянцем. Она шла мелкими шажками, не сводя глаз с рюмки, и чувствовалось, что она очень боится уронить её или расплескать. У Митяя захолонуло сердце. Он разглядел её изумрудно-зелёные глаза под чёрными, вразлёт, будто нарисованными бровями, толстую косу до пояса, с красным бантом на конце, и точёный носик с чуть подрагивающими ноздрями. С трудом понял, что она произнесла, протянув ему поднос с рюмкой. Его будто столбняк прошиб. Машинально взял рюмку и выпил. Не почувствовав вкуса, поставил её назад и не мог оторвать взгляд от лица девушки, совсем ещё, в сущности, девчонки. Она стояла, не поднимая глаз. С двух сторон на него зашикали.

– Отвечай. Пряник возьми.

Тогда только он очнулся.

– Да ответь ты ей, – подсказывали чуть ли не в полный голос.

– Красота вашей чести, барышня. Спасибо за угощение, – вспомнил он, наконец, как отвечали другие.

Девушка вспыхнула всем лицом. Митяй увидел сверкнувшие глаза, наполненные слезами, и услышал дрожащий, нежный голосок:

– На доброе здоровье, Дмитрий Петрович, – после чего она поспешила отойти к столу, чтобы ритуал могла повторить следующая пара.

Митяй вернулся на своё место и, садясь на скамью, спросил у сидящего рядом парня в жёлтой косоворотке:

– Это что за девчонка мне вино подносила?

– Чуркина Марютка, подруга моей сестры. Да она в первый раз здесь.

– Что ж так?

– Ей недавно шестнадцать стукнуло. У них дома трое, все девки, а она старшая. Так что, всё хозяйство, почитай, на ней. Не до вечёрок было. А сейчас сёстры подросли, можно и одних оставить.

Между тем начинались танцы. Музыканты приготовились. Было их всего-то двое: инвалид Семёныч – гармонист, а Егорка – балалаечник.

– Начинаем с кадрили, – объявила Комариха, – кавалеры на середину, девушки напротив.

Парни стали выходить на середину, почти плечом к плечу, завставали со скамьи и девчата. Парни вышли не все. Это было замечено Комарихой.

– Вы чего, сюда отсиживаться пришли? Ну-ка, не обижайте девушек, вон у нас какие красавицы.

В центре избы уже выстроилось шесть пар, на скамейке осталось четверо девчат. Парни, сославшись, что хотят курить, выбрались из избы.

– Дмитрий, а ты что, заболел? Хватит, сиднем сидеть. Ну, эти, ладно, молоко на губах не обсохло, стесняются ещё. Ничего, два-три раза придут – привыкнут. А тебе стыдно скамью просиживать. Вон, чуб какой, а усы? – и она вздохнула его густые кудрявые волосы, – казак, да и только.

– Не горазд я, танцевать.

– Лиха беда? Научишься. Сейчас я фигуры напому, – она захлопала в ладоши, привлекая внимание. – Сначала кавалеры подходят к барышням и делают поклон, затем отходят обратно и три раза щёлкают по полу каблуками. Барышни в ответ на поклон склоняют голову и приседают, затем так же отбивают каблуками три раза. Она показала, как это делается.

Напомнив три-четыре основные фигуры, она взяла за руку Митяя и поставила в шеренгу танцующих.

– Манечка, иди сюда, становись, – махнула она рукой девушке, которая ему подносила вино.

Та без слов поднялась со скамьи и встала напротив. Комариха сделала знак музыкантам, и кадрили началась. Митяй опять не сводил с девчоночки глаз, ведя её за руку в кадрили, и когда менялись парами, тоже. Это было не по правилам. Другая девушка, что оказалась напротив, даже фыркнула и демонстративно отвернулась, но он этого даже не заметил. Та, которую называли Манечкой, после кадрили стояла в девичьем углу, переговариваясь с подружками, и не смотрела в его сторону.

Потом плясали полечку, гопака, потом краковяк, а потом девушки водили хоровод с песнями. Парни в это время кто на лавке отдыхать остался, кто покурить пошёл, иные по рюмочке добавляли, заплатив Комарихе две копейки. А кое-кто, стараясь не привлекать внимания, с подружкой в сени выскакивал – освежиться. Егорка в углу, отложив балалайку в сторону, угощался наливочкой. Рядом сидела, прижимаясь к нему, какая-то дородная девица в красной блузке, с алой лентой в косе. Перерыв был недолгим. Егорка взял в руки балалайку и вопросительно посмотрел на Митяя: «Спляшешь?». Митяй в ответ кивнул. Егорка что-то шепнул хозяйке и ударил по струнам.

Объявили «русского». Митяй был не силён в танцах городских, но что-то, а «русского» плясать умел. Вышли четверо парней и сначала сапогами дробь отбивали, затем вприсядку пошли, а дальше уж каждый своё откаблучивал. Последние коленца – вплотную к барышням – своеобразное приглашение к пляске. Если танцор не нравился, те отказывались. Митяй старался, всюю, перед Манечкой, лишь бы внимание обратила. Когда Манечка, в ответ, сделала

шаг вперёд и притопнула каблучками, сердце у него чуть не выпрыгнуло от радости. Они пошли под музыку по кругу. Он приобнял её плечики, покрытые новым цветастым платком, а она, держась за концы платка и задорно вскинув голову, победно поглядывала на остальных.

– Манечка, после в сени выходи... Я тебя ждать буду, – прерывающимся шёпотом произнёс Митяй. – Придёшь?

Она не ответила, делая вид, что занята очередной фигурой танца. Когда музыканты перестали играть, а пары остановились, Митяй выскочил в сени, где стояла прохладная темнота.

Глава 5

Манечка



Маленькое окошко над дверью подсвечивала луна, и, попривыкнув к темноте, Митяй смутно различил три пары, которые стояли вплотную друг к другу. Обнимались ли они, целовались или что-то ещё, в таком мраке было не разобрать. Да он и не приглядывался, его больше беспокоило, примет Манечка приглашение или нет.

Вдруг дверь в избу внезапно открылась, на полсекунды озарив пространство, где в обнимку стояли пары. Это кто-то из парней, накурившись, возвращался в избу. Останавливаться в сенях, без пары, было не принято.

Митяй подождал ещё немного. Дверь осторожно стала отворяться, и в проёме показалась девичья фигурка. Девчонка, просунув голову, пыталась разглядеть, что происходит в темноте.

– Закрой же ты дверь, – послышался недовольный голос рослой девицы, стоявшей в обнимку с парнем ближе всех. Соглядатай её весьма раздосадовал.

Митяй, увидев, что это Манечка, схватил девушку за руку и выдернул в сени, прикрыв за ней дверь.

– Пришла, всё-таки, – едва сдерживая волнение, выдохнул он, пробираясь с добычей в дальний угол сеней.

– Пришла, вот.

– Я уж и не чаял.

– Чего так?

– А, вспомни, кадрили, когда, танцевали, я сколь разов заговорить пробовал, а ты всё молчком.

– Думала, насмешничаете надо мной.

– Да ты что, Манечка? Ты красивая такая, худого мне ничего не сделала, как же я мог насмешничать? Как ты подумать-то могла?

– А когда я вино поднесла, вы выпили, что ж не говорили ничего, пока другие не подсказали? Я не знала, что и делать, хоть плачь. Вот и подумала: видно, не глянулась вам.

– Господь с тобой!.. Это я, твою красу увидев, оглупел совсем. Я здесь, на посиделках, первый раз. Всех обычаев не знаю, если сделал что не так, прости уж меня.

– Бог простит. Я ведь ещё с порога вас заметила. Парень видный, одет так хорошо, взгляд смелый. Ну, думаю, о таком и мечтать глупо. Есть и другие девчата, меня получше. Я про себя Деву-Богородицу молила, чтоб хоть раз танцевать с вами пришлось. Она и помогла, наверно. Довелось мне вам вино подать, – шептала Манечка в темноте, пока Митяй всё сильнее прижимал её к себе.

– Да ты дрожишь вся.

– Зябко что-то.

– Дай я тебя укурую, – прошептал он, скидывая с плеч тулупчик. Ему хотелось прикрыть её, защитить от всяких бед и напастей. Манечка, почувствовав, как бережно её укрывают тулупом, доверчиво прильнула к его груди.

– Господи, – молился про себя Дмитрий, – пусть она меня полюбит, всю жизнь буду на руках носить, пусть не боится, ведь я хорошего ей хочу.

Он осторожно взял голову Манечки в свои ладони. Она не сопротивлялась. Тогда он неумело ткнулся своими губами в её губы и замер.

Это было новое переживание. И ожидание, как девушка отнесётся к его действиям. Она, как ему показалось, только слабо шевельнула губами в ответ. Переведя дух и осмелев, он уже более настойчиво прильнул к её губам, Ах, как это было сладко – целоваться с красавицей. От неё пахло свежестью или одеколоном, Митяй не больно-то в этом понимал, но нравилось ему до головокружения.

– Хватит уже, – отстраняясь от него, выдохнула Манечка и тоже перевела дух. Сердце её так и колотилось. – Заметят ещё, насмешничать будут.

– Кто это посмеет? – тоже шёпотом спросил Митяй. – И не до нас им...

– Дак они уж который раз. И так все знают, что у них дело, если не к свадьбе, так к сватовству идёт. Кто тут что скажет? А у нас первая вечёрка, а я уже целовать себя позволяю. Вы потом за другой приударите, а надо мной будут смешки строить. Вон как Зине Передугиной ворота-то дёгтем вымазали.

– Не бойсь, тебе не вымажут, испугаются. А ты, вот, меня Дмитрием Петровичем назвала, как мужика. Откуда вы знала?

– Слышала же, как Дмитрием назвались. А как хозяйка про отца спросила, а вы сказали: «Верно, его Петром зовут», так что тут не догадаться?

– Да, ты на ум быстра. А что ты всё: «Вы да вы...» – я же ненамного тебя старше. Говори мне: «ты».

– Это у нас в дому так принято. У нас дома мужчина один – папенька. Весь дом на нём, всё хозяйство, он добытчик. А нас четверо, дочерей его. Мы только по имени-отчеству отца величаем: Иван Осипович. Только на «вы» к нему обращаемся. Видеть только его не каждый день приходится. Он хлебным извозом занимается. На Борелевскую мельницу из деревень в округе зерно возит. Иной раз по три дня его нет. Приедет – у нас праздник. Леденцов привезёт, ситничку с изюмом, а то и платок кому, вот у нас и радость.

– Хорошая ты моя, как же ты мне нравишься.

– Митя, ну, пошли в избу, неудобно уже.

Они на цыпочках, чтобы не потревожить других, тихонько пробрались к двери. Митяй отворил тяжёлую дверь, и они вошли в освещённую избу, слегка щурясь после темноты сеней.

– Ну, что, намёрзлись? – с ласковой усмешкой встретила их хозяйка дома. – Что, Митя, ещё рюмочку выпьешь? Тогда две копейки с тебя.

Митяй шлёпнул на стол монету, и вкусная, чуть тягучая наливочка протекла через глотку, приятно согревая.

Потом опять были танцы, потом игры затеяли. Митяй и сам подивился: вроде взрослые уже девицы и парни, а играли в такие игры, как «жмурки» или «ручечк». Однако сейчас игры эти приобретали совсем иной смысл – выбирали не пару в игре, а спутника по жизни. Часам к двенадцати ночи Комариха объявила:

– Погуляли на славу, пора и честь знать. Завтра ведь работать. Девчата, смотрите, к утренней дойке не опоздайте.

Молодёжь стала расходиться. Митяй провожал Манечку до самого плетня дома Ашних (Чуркиных, по-уличному, – вспомнил Митяй). Скрипел под ногами снежок, светила луна, смеялись где-то невдалеке парни с девчатами, попискивала гармошка. Хотелось идти вот так, смотреть на милое личико, обнимать за плечи и перед всем миром заирать от гордости нос, что у него такая красивая, такая воспитанная девчонка. Дойдя до калитки, он уже, как само собой разумеющееся, обнял Манечку и стал целовать в губы, но Манечка, чмокнув его в ответ, быстро выскользнула у него из-под руки и заскочила за калитку.

– С ума сошёл, – прошептала она, – батюшка, не дай Бог, увидит, али сёстры, всё ему разболтают – беда будет. Прощевай, Митя.

– Придёшь ли на вечерку снова?

– Приду. Иди уже.

И она скрылась, затворив за собой калитку на засов. Митяй побежал домой счастливый. Ноги под ним, казалось, сами пританцовывали.

Приказано жениться

Встречи с Манечкой скоро стали обычными. После посиделок, которые чаще всего бывали у Комарихи, Митяй её провожал. Шли весело, вспоминая только хорошее, интересное, что было за вечер. Подруги Манечке уже советовали готовить подвенечный наряд, а парни в деревне, учитывая крутые кулаки Митяя, приглашали на танец только с его разрешения. С каждой встречей они прикипали друг к другу сильнее, а их невинные поначалу ласки становились всё смелее. Манечка хоть и краснела, когда Митяй на посиделках прижимал к себе, но уже не уворачивалась. Ей было приятно думать, что подруги завидуют. Да так оно и было.

Митяй всё больше входил во вкус. Когда выскакивали в сени подышать, однажды он залез разгорячённой рукой под кофточку, ощутив под ладонью бешеное сердцебиение и трепет нежной девичьей груди.

– погоди уж, после свадьбы... – простонала ему на ухо Манечка.

А потом они стали встречаться чуть ли не каждый вечер. С другими девушками и парнями гуляли под ручку по деревне, а то в снежки затеют или на санях с горки кататься. Не только их сердца заходились от любви в эти святочные вечера. Рождество, а там и Масленица – самая пора свадеб.

Не из малых была Нижняя Добринка, да мир слухом полнится. Разговоры, что Митяй с Манечкой гуляет, докатились и до семьи Кирсановых. Как-то Евдокия, видя, что сын её младший торопится надеть валенки и тулупчик – ушмыгнуть на улицу, приостановила его властным голосом, как она умела в необходимых случаях. Была она роста для бабы немалого и весом не обижена. Порядок, ежели что, своей рукой наводила.

– Присядь-ка, Митя. Разговор есть. Что-то ты на гулянку зачастил? Раньше, бывало, хвостиком не выгонишь, а тут, что ни вечер, до полночи дома нет.

– Так ведь, что делать-то? – отмахнулся Митяй – Дрова принесены, вода натаскана, за скотиной убрано. Мне что теперь, век из дому не выходить?

– Вань, поди-ка сюды, – кликнула она среднего сына, который с семьёй жил в доме матери.

Тот вошёл в горницу, мягко ступая шерстяными носками по цветным половикам. В свои двадцать три был он того же роста, что и младший, только в плечах пошире. Как и Дмитрий, кудряв, только волосом светлее, с рыжиной, что ли. Небольшая борода, которую Иван начал отпускать с рождением второго ребёнка, подчёркивала его старшинство, но и выдавала наличие кавказской крови.

– Чего звала?

– Присядь вон, потолкуем. И ты садись...

Оба сели за стол, уставились на мать.

– Ты, Митя, с Машей Ашниной давно уж хороводишься? – строгим голосом спросила она.

– С октября. Ближе к ноябрю уже.

– Я спрашиваю, Маша, что, тебе нравится?

– Нравится, – набычился Митяй.

– Нравится, или любишь?.. – допытывалась мать.

– Люблю.

– И далеко у вас... это зашло?

– Чего зашло?

– Ты не придуривайся, – влез Иван, – того зашло... Куда заходят, да и тут же выходят?

Из тех ворот, откуда весь народ.

– Не было ничего такого, целовались только.

– Ты имей в виду, – опять начала Евдокья, – об вас полдеревни говорит. Так что, смотри, девку не позорь, а то ей ворота дётгем вымажут – век замуж не выйти.

– Я им вымажу, – вскипел Митяй, – да её скромнее никого в деревне нет.

– Вот и не доводи до греха – женись, пожалуй.

На Митяя как холодной воды ушат вылили.

– Да я, вроде, погулять ещё хотел.

От гульбы твоей путного ничего не будет. Господь, хорошо хоть, уберёт, греха не было. Живота не нагуляли, значит, можно всё, не торопясь, обстряпать. Ты, что, уже против Мани?

– Нет, не против. Куда мне жениться? Ничего ещё в жизни не видел.

– Ты не верти, – стукнула мать по столу, – любя она тебе, значит, сватов засылаем, нет – стало быть, другую найдём.

– И что вдруг вас, с моей женитьбой, припёрло? – уже раздражаясь, спросил Митяй.

– Работница в дом нужна. У меня уже годы не те.

– Тебе же Валя... и невестка Тося помогают, опять же, у нас и жить-то негде.

– Иван уже избу завершает, в святки переедет. А Валю, что же, тебе не жалко? Сестра ведь родная, ей четырнадцать всего... Она с нашим хозяйством одна не управится. Загоним девку, к шестнадцати на старуху будет похожа – руки до земли, вены как верёвки, спина колесом, какому парню нужна будет?

– Так ты, что, хочешь Маню работой в старухи загнать?

– Ничего, она девка крепкая, к работе привычная, выдюжит. А уж мы ей подмогнём.

– Ну да, ты подмогнёшь... – протянул Митяй.

– Нуда – хуже чесотки, – съёрничала Евдокия. – Ты мать слушай, умней будешь. Маню Ашнину бери. Семья небогатая, так что, и небольшое приданое для них в тягость. Небось что девка сама себе к свадьбе нашла, то у неё и есть. Да ничего. Свадьбу справим не хуже, чем у людей. Пусть знают Кирсановых. Мы ни перед кем не кланялись, может, за то и страдаем. Нас, Кирсановых, на колени не поставишь.

– А ты, мать, расскажи.

– О чём это?

– Когда Кирсановым страдать пришлось?

– Ты хоть знаешь, кто мы такие есть? Как в Нижней Добринке оказались? Подрок ты крепко, женить уже пора, так историю рода нашего послушай. Потом детям своим передашь.

Глава 7

Откуда в селе Кирсановы

Это ещё с прапрадеда вашего повелось, – начала со значением Евдокия Кирсанова. – Ты деда Григория ведь не помнишь. Он умер, ты маленький ещё был, года три всего. «Становой» ему прозвище было. Его сыны – Кирсановы-Становые, дядья твои. Один в город Жирнов перебрался, другой где-то в Архангельске теперь живёт, а отец твой, Пётр, младший из них был, хозяйство ему досталось. Как его на японской убили, нам прозвище деревенское дали – Петрушковы.

– А почему «Становой»?

– Это ты про деда? Он не становым приставом вообще-то был, а урядником. С турецкой войны раненым пришёл, но два Георгиевских креста у него было. В армии он унтер-офицером был, грамоте выучился. А тут помер наш урядник, перепил водки и помер. Приехало начальство из губернии, и становой приехал. Два дня судили-рядили, назначили деда твоего. Потом друзья его вечером пришли, винца принесли, должность обмыть. Из родни кое-кто пришёл. «Ты, – говорят, – Максимыч, поднялся над всеми нами – урядников у нас ещё не было». А он в ответ: «Я ещё становым буду». Все засмеялись, а потом сказали: «Вот, Становым с этого дня и будешь», – так что до гибели твоего отца мы и были Кирсановы-Становые.

Брат его младший становым тоже не стал, но грамотный и уважаемый человек был – волостным старшиной его выбрали.

В тысяча девятьсот шестом году было дело. Наши, добринские крестьяне, борелевские луга распределили меж собой, после смерти старшего Бореля. Ему ведь не только мельницы принадлежали. А ещё и поля, да и луговина немалая. Дети его долго наследство делили, им не до покосных лугов было. А потом схватились, а они уж выкошены – самоуправство. Нажаловались губернатору. Вот к нам Столыпин и пожаловал лично – он тогда саратовским губернатором был. Строгий был мужчина. Да с ним два десятка казаков конных. Отстоял он молебен в храме, подобно Суворову, потом велел сход собрать. После сельского схода Пётр Аркадьевич строго указал Василию Кирсанову, как волостному старшине, чтоб в порядке и строгости село держал, а жителям своевольничать не давал. «А то, – говорит, – найдутся на вас и суд, и каторга». Двоих мужиков они с собой забрали, те больше в село не вернулись, а уж сколь годов прошло.

– И когда же крепко Кирсановым досталось? При Столыпине, вроде как, беда краем прошла.

– Был у нас, у всех Кирсановых, тех, что в Добринке живут, общий предок – Вахрамей Кирсанов, из донских казаков Хопёрского куреня. Рубака, люди бают, был знатный. С генералом Суворовым на Туртукай ходил, сорок тысяч турок они тогда побиили. Вахрамей в ту войну турецкого офицера со знаменем в плен взял.

– Суворов, вроде, фельдмаршалом был.

– Это он, фельдмаршалом-то, когда уж стал... позже много. Генерал-майором он был, когда в Нижнюю Добринку заехал передохнуть. Тогда с Вахрамеем они вновь повстречались.

Александр Васильевич тот раз в свой новый поход ехал, Емельку Пугачёва брат. Императрица ему поручила разбойное войско побить, а супостата имать и на расправу приволочь. В нашем соборе Суворов тогда с офицерами весь молебен отстоял. Из собора выходя, он Вахрамея увидел. В нашем роду эта встреча и их разговор – от старшего, к младшему, передаётся. Из рода в род, из семьи в семью, чтоб знали, что их предок за руку с Суворовым здоровался. Потом ты своим внукам расскажешь.

Хоть уж время прошло, как не виделись, однако Суворов, мало, что граф, а Вахрамея узнал. Руку ему подал и приобнял даже.

– Жив ещё, казак, – говорит. А тот голову опустил.

– Не казак я боле, а вольный хлебопашец.

– Да, как же так? Ты же сражался храбро! Я помню, ты Саид-бея, турецкого офицера, на верёвке притащил, да потом ранили тебя.

– Обидели меня крепко. Ушёл я из Войска Донского. Теперь, вот, тут живу, в Нижней Добринке. Государыня Екатерина, спасибо ей, матушке, здесь немцам земли давала и российским служилым людям. Подал я прошение, и мне надел дали. Теперь здесь землю пашу.

– А ты не согрешил, казак? Честь свою не уронил?

– Я в том бою, что Ваша Светлость припомнили, у турок девушку отбил – дочку черкесского князя Мурад-бека. Они её на Кавказе захватили, во время похода.

Меня, как раненого, потом домой отпустили, думали – совсем помру, а я оклемался. С обозом её везли до самой нашей станицы Хопёрской. Юлдуз, так её звали, за мной в дороге ухаживала. У меня в доме она потом жила. Жениться я на ней задумал. А она мусульманка, некрещёная, ей в церковь нельзя. Я ей объяснил, что, пока она не примет веру православную, мы обвенчаться не сможем. Я ей, как умел, каждый день про Христа рассказывал, про Матерь Божью, про Господа Вседержителя. Она, видно, проникаться нашей верой стала, за мной всё повторяла: «Исса-пророк, Мириам ханум, Джебраил Алла-раис, Алла-господь».

А на Радуницу всё и случилось. У односума кобыла жеребиться начала, я к нему в тот день уехал, помочь. А Юлдуз в церковь, оказывается, надумала идти. Да неудачный день она выбрала. Сбил с толку звон колоколов. Вот она и пошла, вместе со всеми, к храму. Радуница – это ж всех усопших и убиенных поминают. А их от турок сколь погибло? Ей бы вообще из дому не выходить. А тут она в своём платке, каким лицо закрывают, одни глаза на тебя глядят. В Хопёрской много казаков турками побито было, вот бабы в неё и вцепились. Она хоть и не турчанка, а черкешенка была, им всё равно. Тем более, никто особенно не спрашивал, какого она роду-племени. Только и разговору было, мол, Вахрамей турку в жёны взял. Стали её бить, платок с неё сорвали. Это для казачек-то позор, а черкешенке – хуже смерти. Она одной бабе ногтями в лицо и вцепилась. Та заорала: «Убивают! Рятуйте!». В общем, конец света. Парнишка односума прибежал, кричит: «Дядя Вахрамей, твою Юлдуз убивают возле церкви».

Я на жеребца верхом, благо тот под седлом стоял, и на площадь намётом вылетел. А там визжащий клубок из юбок и платков в пыли кувыркается, а в самом низу – ноги моей Юлдуз, по шароварам чёрным её узнал. Не помню, как их плетью лупил, но разбежались бабы, с визгом, в разные стороны. Хотел, было, прыгнуть с жеребца и Юлдуз свою поднять, как на площадь галопом вылетел кошевой атаман, с шашкой наголо. Оказывается, его баба, которой плетью досталось, с воплем во двор ворвалась и завизжала, что Вахрамей, я, то есть, станичных баб плетью насмерть бьёт. Он за шашку и ко мне.

– Зарублю, – орёт, – сволочь! И шашку-то занёс...

Я коня вздыбил, чёрт его знает, вдруг, сдуру, и правда зарубит, и плетью ему по руке. У него шашка из руки и выпала.

Он от боли скривился, левой рукой повод держит и орёт:

– Ты из-за турецкой суки на атамана руку поднял?

Тут я света неувидел, огрел его плетью поперёк спины, а потом по крупу лошади. Та на дыбы, он чуть из седла не вылетел, одна рука-то висит от моего удара, и вскачь пошёл с площади, на ходу крикнул:

– Попомнишь!

Я с жеребца слез, Юлдуз поднял, она только тихо стонала, лицо в крови всё, перевалил её поперёк седла и домой повёз. Дома из кувшина голову ей обмыл, платком обмотал, спрашиваю:

– Зачем ты пошла туда?

– Я люблю тебя. Думала, в церковь пойду, ты мне муж будешь. Они злые. За что били меня? Христос велел всех любить.

– Они думали, ты турка. У них родню турки убили.

– У меня отца тоже турки убили, мать убили, братьев убили. Я не убивала никого. За что меня били?

Что я мог ей сказать? Но мне не дали её хоть как-то успокоить. Ворвались в хату атаманцы, связали меня и привели на площадь. Собрался Малый Круг, суд был скорый. Судьями были те, чьи жёны или сёстры били мою Юлдуз. За то, что поднял руку на атамана и порол казачек, содрали с меня рубаху, привязали к столбу и всыпали двадцать плетей, так что у меня шкура лопнула. Когда меня отвязали, я стоять на ногах не мог, на карачках, держась за заборы, до дома добрался.

– Что же никто не вступился за тебя? – спросил Суворов.

– Священник только, отец Никодим. Остановитесь, – говорил, – люди. Зло порождает зло, ведь он товарищ ваш.

Но никто его не послушал.

Собрал я к вечеру всё, что было у меня в доме, запряг свою пару лошадей, посадил на телегу Юлдуз. Сам сел на своего жеребца, да и подались мы со двора. На краю деревни, за околицей, ждала нас атаманская команда с атаманом во главе.

– Вот что, Вахрамей, – сказал он, поглядывая на мою пищаль поперёк седла и пистолеты за поясом, – зла я на тебя не держу, казак ты добрый, в бою нас не подводил. Забудь обиду, пусть турчанка твоя идёт, куда хочет, на все четыре стороны, а ты воротись, мы тебе хорошую казачку сосватаем.

– Видно, у нас свой путь, – ответил я им.

– Смотри, – тогда сказал атаман, – ты против обчества идёшь, а у нас так: «В Донское Войско вход рубль, а выход – два. Назад тебе к нам пути не будет. Ты казачье братство на бабурку променял.

– Черкешенка она, а не турка.

– Да один чёрт – магометанской веры. Не дадут ей наши бабы житья. Смута в станице будет.

Поглядел я в глаза Юлдуз, полные слёз, и молча тронул коня. За мной, тихо поскрипывая, поехала телега с моей женой и скарбом.

– Запомни, – прокричал вслед нам атаман, – нет боле в Донском Войске казака Вахрамея Кирсанова. Живи, как знаешь.

С версту отъехали, я на свою станицу последний раз обернулся. Вижу, дым над станицей столбом поднимается, и набатный колокол звонит. Понял я, что кто-то по злобе дом мой запалил, чтоб я вернуться не вздумал.

Так мы и доехали до Нижней Добринки. А тут земельные наделы немцам нарезают по указу матушки-государыни Екатерины, по благу, а ещё землю дают отставным солдатам и торговым людям. У меня грамота Вашего Сиятельства осталась, где вы просите оказывать содействие мне, Вахрамею Кирсанову, казаку, который пленил турецкого офицера, уволенному из действующей армии по ранению. Вот, и мне здесь кусок земли выделили. Она не такая жирная, как на Хопре, но хлеб родит, жить можно.

– Да, – протянул задумчиво граф Рымникский, – наделал ты дел, да и с тобой круто обошлись. А Юлдуз где, здорова ли? – спросил Суворов.

– При крещении Екатериной она была названа, Ваше Сиятельство. Померла она прошлый год. Так что, крест православный на её могиле. Трёх сыновей мне оставила. Старшего в деревне – Турка – прозвали, среднего – Турчонок, а младшему только год, он пока без прозвища.

– Ну, помогай тебе Бог, Вахрамей. Помолись за меня и за солдат, что скоро вместе со мной в бой пойдут.

– Вы молебен сегодня заказали, Ваше Сиятельство, Александра Васильич, во славу оружия русского. Дай Бог ему опять победы над супостатом.

– Нет, Вахрамей, не во славу оружия, а во вразумление заблудших. На великого злодея, Емельяна Пугачёва, идём. Но ведь у него в войске, почитай, все свои же, русские, да башкирцы ещё примкнули неразумные. Разве ж добудешь славу, против своих же, воюя? И отказаться никак не могу. Хоть и чувствую, что последний раз мне командовать войсками придётся.

– Государыня просит?

– Просит. А главное, тысячи душ загубленных к отмщению зывают, а тысячи об избавлении от разбойника молят. Как тут откажешься?

Александр Васильевич взошёл в коляску, которая рядом с храмом его поджидала, запряжённая четвёркой рысаков, и, обведя взглядом собравшуюся толпу, сказал:

– Молитесь за нас, люди русские. Молитесь, чтобы мир и покой воцарились на Руси, чтобы опять настали в Отечестве порядок и процветание.

После этого он сел в коляску и уехал. Вслед поскакали за ним офицеры и почётный конвой. Слышать потом было, что матушка-императрица Екатерина его на Север отправила, границы со Швецией посмотреть и Петровский Завод посетить, что в Олонецкой губернии. Вот так, Митя, ваш прапрадед с Суворовым последний раз виделся. Кирсановых сейчас в Нижней Добринке больше десятка дворов. Все ведь от этого Вахрамея свои корни ведут. Мы Кирсановы-Петрушковы. Были Кирсановы-Турки, да им потом Бог дал только девчонок родить. Вот род и пресёкся, хотя, может, кто в город съехал. У твоего дяди и братьёв двоюродных прозвище до сих пор – Турчонок. Мы их в крёстные берём, они – наших приглашают.

– Да помню я. На Пасху прошлый год мы к ним христосоваться ходили и разговлялись.

– Род наш знаменит. Известны мы не только в Нижней Добринке. В Жирнове и Воронеже, в Тамбове и Царицыне нашего корня люди живут. Так что, сын, ты уж не срами ни меня, ни род наш.

Сваты

– Давай, сын, снова к свадьбе перейдём...

Дмитрий молча пожал плечами и склонил голову, что можно было принять за согласие.

– Вот я думаю, – сказала Евдокся, – надо тебе дядю Фёдора Кирсанова-Турчонка в сваты брать. Он, как и Ашнин Иван Осипович, ямским извозом занимается, они быстрее сговорятся. А ты в дружки кого возьмёшь?

– Серёгу Краснокутского, он уже на трёх свадьбах в дружках был, обычаи знает и до вина не охоч. Мы с ним, на кулачках когда, вместе кузнеца Вавилу прикрываем.

– Вот и Вавила, пожалуй, к свату в помощь хорошо подойдёт. Он ведь Турчонку лошадей частенько перековывает, и мастер он на деревне уважаемый. Так что, пожалуй, я с ними двумя перетолкую, а ты с Серёгой, да в субботу сватов и зашёл. Иван Осипович к субботе да к бане обычно дома.

Митяй с Краснокутским договорился быстро. Тот был пятью годами старше Дмитрия, но до сих пор неженатый, хотя вполне уже самостоятельный. Жил с одной матерью, ещё не старой, из казачек родом, а сам работал на шерстобойне, где валяли валенки, делали лошадиные попоны и иной товар. Работа пальцы Серёги сделала железными, он мог пятак согнуть. Митяй как-то поинтересовался, почему тот в холостых ходит. Но Серёга отшутился: «Часто в дружки на свадьбы зовут. Как венец над головой у кого подержу, так подруга невесты, что рядом с венцом в руке стоит, всенепременно понравится, а ведь ей за меня после этого замуж нельзя. Вот и хожу сам невенчаный». На свадьбы его звали потому, что пил немного и всегда мог драчунов разнять.

В субботу у Кирсановых, после обедни, собрались сваты. Все трое были одеты в своё лучшее. Посидели немного, обсудили кое-какие детали и пошли садиться в лёгкие сани, запряжённые лучшим рысаком Фёдора Турчонка. Евдокся, выйдя во двор, перекрестила их:

– Ну, с богом.

Рысак с места взял бойко, только снежные комки отлетали в стороны от шипованных подков.

– Па-а-берегись, – покрикивал Фёдор на гуляющий по улице народ.

Так и долетели в пять минут до избы Ашниных. Несмотря на отчаянно лаявшего, на цепи у крыльца, здорового пса, вся троица, не торопясь, вошла по ступеням и, постучав, но не дождавшись ответа, вошла в избу.

Хозяин дома Иван Осипович, крепкий мужик, обросший смоляной, с чуть заметной проседью, бородой, сидел под образами за дубовым столом и пил чай из большого блюда, фыркая и вытирая пот. Его покрасневшее лицо отражалось в начищенном боку медного самовара. Сидел он в одном исподнем, видно, только из бани.

– Здоров будь, хозяин, – произнёс Фёдор, снимая с головы шапку. Сняли шапки и два его товарища.

– И вам не хворать, – отозвался Ашнин.

– С лёгким паром, приятно чаю попить.

– С чем пожаловали?..

Они, все трое, переглянулись, и Фёдор Турчонок шагнул вперёд.

– Летал наш сокол за околицу да увидел одну горлицу. Хоть росток у неё небольшой, да полюбил её всей душой. Она, было, к нему прикорнула, да потом в ваш двор и упорхнула.

– Это чего такое? – даже не сообразил Иван Осипович, отставляя блюдо. Хотя это была обычная приговорка при сватовстве.

– Да ничего, – подхватил Сергей. – У вас горностаюшка, да у нас соболь. У вас товар, у нас купец.

– В общем, сваты мы, – угрюмо встрял Вавила, доставая из кармана армяка бутылку и высадив из неё пробку ловким ударом о доньшко. – Мы к тебе, Осипыч, с добром, так что, прикажи рюмки подавать, а не гарбуза готовить.

С этими словами он поставил бутылку водки на большой стол. Хозяин наконец-то сообразил, что к чему, выскочил из-за стола, потом смутился своего вида перед вошедшими.

– Да вы проходите, садитесь за стол, гости дорогие. Коль с «казённой» пришли – дело, стало быть, серьёзное. Дочки! – крикнул он.

Из соседней комнаты вышли трое: Маша, Дуся и маленькая Нюся.

– На стол закуски давайте, быстро, – а сам скрылся.

Девчата засуетились. На столе стали появляться обливные глиняные посудины с квашеной капустой, солёными огурчиками, мочёными яблоками. Из печи достано блюдо с шанежками. Расставили четыре рюмки зелёного стекла.

Из комнаты вышел Иван Осипович, одетый уже в широкие штаны и косоворотку синюю в белый горох, в шерстяных белых носках на ногах.

– Присаживайтесь, гости дорогие, закусим, чем бог послал, – и, перекрестив лоб с большой залысиной, сел на скамью со стороны иконостаса. Со стороны печи поселились сваты, успевшие скинуть с себя верхнее.

– Спаси Христос, – буркнул Вавила в ответ на приглашение и перекрестился, глядя в сторону иконостаса.

За ним стали креститься и друзья-сваты.

– Говорите толком, с чем пожаловали?

Фёдор Турчонок опять начал скороговоркой:

– У вас товар, у нас купец, – но Вавила его прервал.

– Да ладно, не бубни, к делу давай.

– Сваты мы. А к тебе по делу, – уже ясно и отдельно сказал Турчонок.

– Да кого сватать-то? У меня, конечно, девок в доме – не одна, да все дети малые.

У Фёдора даже глаза стали круглые.

– А Маруся?

– Машенька? Бога-то побойтесь, ей годов сколь?

– Не меньше поди, чем твоей Анне было.

– Дак, и не очень-то больше. Да и где Анна моя?

– А если не болезнь, до сих пор бы жила.

– Ну, в общем, молода Маша ещё. Рано ей замуж выходить.

Вавила крикнул что-то невразумительное, пожал плечами и уже стал, было, подниматься из-за стола.

– Вот что, Иван Осипыч, мы к тебе с уважением? – неожиданно встрял Серёга, что было не по чину. Роль у него в сватовстве предполагалась вспомогательная.

– Спору нет, все вы люди уважаемые. Да ведь дочь она мне родная. Я ей зла не хочу.

– Дядя Фёдор, наливай, пожалуй, что-то без вина разговор не идёт, – отметил опять Серёга.

– Вот и я думаю, – глубокомысленно добавил главный сват, берясь рукой за бутылку и разливая поровну участникам этого нерядового события.

Выпили, крикнули и бодро захрустели солёными огурчиками.

– Шанежков берите, тёплые ещё, – захопотал Иван Осипович, желая угостить сватов лучше, видя их нерешительность.

Первую взял Фёдор, за ним потянулись другие.

– А, хороши у тебя шаньги-то, – глубокомысленно заметил Вавила.

– Правда, вкусные. Кто же пёк-то, Осипыч, не сам ли? – улыбаясь, с подковыкой спросил Серёга.

– Машенька моя, умница, – улыбаясь тоже во весь рот и не чувствуя подвоха, с достоинством произнёс отец.

– Ну, вот, я так и думал, – тут же подхватил Серёга, – а ты: «ма-а-а-аленькая», – передразнил он. – А на обед у вас что-нибудь было, или одни шаньги ели? – опять спросил Серёга.

Ашнин сидел, насупившись, не зная, что ответить, и дожёвывал шаньгу, которую целиком засунул в рот.

– Щи у нас были с бараниной, Манечка варила, вот, – вдруг прозвучал звонкий голосок. Это вмешалась в разговор маленькая Нюша, которая, как и старшие сёстры, внимательно прислушивалась к разговору.

– Цыть у меня. Мала ещё старших перебивать, – рявкнул, нахмутив брови, отец.

Хотя чувствовалось, что строгий вид напускает больше для виду. Сваты дружно захохотали, за ними засмеялся и Осипыч. Чарка водки, разливаясь по чреву, начала делать своё дело.

– Да ты бы, хозяин, хоть спросил, за кого мы её сватаем, – продолжил разговор Фёдор.

– И за кого же? – уже с интересом спросил Ашнин.

– Да за Дмитрия Кирсанова.

– Так ведь и ты Кирсанов. За сына, что ли?

– У меня оба сына женаты. И мы Кирсановы-Турчонки, а я за племяша сватаю, за Дмитрия Кирсанова-Петрушкова. Аль семья их тебе негожа?

– Что ты, – замахал тот на него руками. – Эти в деревне уважаемые. Так у них парнишка ещё молодой совсем, какая ему женитьба?

– Обижает. Ему уже больше восемнадцати, полгода, как стукнуло.

– Невелик возраст, – хмыкнул Осипыч.

– Ты себя вспомни. Ты – во сколь женился?

– Так это когда было. Теперь времена другие, да и дочку жалко. Была бы мать жива, она бы хоть подсказала.

– А ты у дочери спроси.

– И впрямь, чего это я? А ну, Маша, где ты? Сюда иди, – крикнул он в сторону комнаты, куда убрались девчата.

В комнату медленно вошла Манечка и остановилась у входа. Из-за спины её выглядывали сёстры.

– Слышала, о чём речь идёт, что по твою душу сваты пожаловали?

Она глянула на всех, сверкнула глазами, зарделась и утвердительно кивнула головой.

– Ты этого Дмитрия Кирсанова знаешь ли?

Она опять молча кивнула головой.

– Растут дети незаметно, – буркнул Осипыч. – Да люб ли он тебе? Отвечай, а не отмалчивайся.

– Люб, батюшка, – выдохнула из себя Манечка.

– Вот те на! – Изумился отец, – когда же ты успела? А может, ты на сносях уже?

У Манечки от обиды брызнули слёзы. Она только помотала головой и выбежала из комнаты.

– Ну вот, теперь дочку обидел, – с досадой пробормотал он.

– Ладно, придётся извиниться, – сказал Фёдор, берясь опять за бутылку. – Я вижу, мужик ты правильный. Если молодые любят друг друга, чего им мешать? Давай лучше обсудим, когда рукобитье устроим да жениха в дом тебе приведём, чтобы ты на него своими глазами взглянул... – При этом он разливал водку по рюмкам. – Давай, Осипыч, выпьем за дочку за твою, умницу и красавицу, – продолжил Фёдор.

Они опять выпили, закусив огурцами, и засобирались домой к Кирсановым, где их с нетерпением ждала Евдокся. Рукобитье назначили через неделю, тоже в субботу, ближе к вечеру.

Глава 9

Рукобитье

Евдокся слушала, поджав губы, как проходило сватовство, и чем закончился стовор. Затем отдала распоряжения для следующего этапа, который был, пожалуй, ещё более важный, чем сватанье. Именно на рукобитье определяли, кого на свадьбу звать, что в приданое за невестой дадут, где будут жить молодые, что им на обзаведение хозяйством дарить. Только на рукобитье суженый впервые мог войти в дом невесты. Уже после того, как ударили родственники с двух сторон по рукам, парня официально признавали женихом, и на молодых накладывались строгие обязательства.

В следующую субботу, как начало смеркаться, трое саней с прежней троицей сватов во главе, с Евдоксей и Митей, братьями, их жёнами и Митиными сёстрами въехали во двор Ашниных. Все вылезли из саней и сгрудились перед крыльцом, но не просто так, а по обычаю, как веками повелось. Сваты, за ними мать жениха с сыновьями, жених с полдрузьями, а там уж детвора.

В этот раз их ждали. На крыльце был не только нарядно одетый Иван Осипович, но весело поглядывала, уперев руки в бока, Манечкина крёстная, Варвара Патрушева. За ней стояли её сыновья, здоровые парни двадцати трёх и двадцати пяти лет. Остальные выглядывали из открытых дверей в сени...

– Ну, что? С чем пожаловали в наш дом? С добром пришли или с бою брать будете?

Вавила, который шёл чуть за Фёдором Турчонком, хмыкнул и начал засучивать рукава свитки, показывая, что он готов и с бою. Сыновья Варвары нахмурились и встали плотнее, но эту быстротечную заминку прервала Евдокия:

– Что ж мы, доброе дело будем с драки начинать? Чать, не басурмане. Давай, Иван, корзину. За вход – откупное есть.

С этими словами она достала из корзины гребень черепаховый с камушками и с поклоном подала его.

– Иди сюда, прикинь, свашенька, хорош ли?

Та степенно спустилась с крыльца и подождала младшую дочь Ашниных, которая, сама сообразив, метнулась в дом за зеркалом.

Варвара воткнула гребень в косу, свёрнутую кольцом на затылке и, осмотрев себя в зеркале, осталась довольная подарком.

– Ох, хорош! – вымолвила она, улыбаясь.

– Тестюшка, а ты что застыл? Тебе тоже есть, что примерить.

Когда Ашнин, с явным интересом на лице, сошёл вслед за Варварой с крыльца, Евдокся достала из корзины чёрный картуз с высоким околышем и лаковым козырьком. И с поклоном подала ему. Тот крикнул от удовольствия, левой рукой пригладил волосы и натянул картуз на голову. Обновка пришлась впору. Он тоже оглядел себя в зеркало, поданное Варварой. По улыбке, расплывшейся на лице Ивана Осиповича, было видно, что с подарком ему угодили.

– Ну, Осипыч, теперь всё... – громким шёпотом высказался кузнец Вавила.

– Скажешь, тоже... Милости просим, гости дорогие, – произнёс Ашнин, жестом приглашая подняться на крыльцо.

– Проходите, проходите, не стесняйтесь, – поддержала его сватья.

Когда Евдокся с сыновьями поднялись на крыльцо, она указала уже Григорию:

– Доставай «гусиху».

Тот, нагнувшись к корзинке, достал трёхлитровую бутылку с узким горлышком, в деревне называемую «гусихой», полную красного виноградного вина.

– Есть и вам, свояки, чем побаловаться, а это на память, и чтоб деньги водились, – она протянула обоим по кожаному портмоне.

Те тоже заулыбались, освобождая проход. Гости и родня Ашниных дружно повалили в избу.

Манечка встретила сватов, Евдоксю и сопровождающих у накрытого, с выпивкой и закуской, стола, с караваем пышного пшеничного хлеба в руках, который лежал на полотенце, блестя в свете керосиновой лампы аппетитными боками.

– Откушайте, гости дорогие, – промолвила она, покраснев от смущения.

– Сначала выпьем, – вмешалась сваха. – Отведайте, бояре, сладкой водочки, а барыни-боярышни – винца красного.

Хозяева и гости стали наполнять уже знакомые сватам зелёные рюмки.

– Со знакомством нас, – провозгласил Иван Осипович, и все дружно выпили.

– А закусить – караваем, пожалуйста, – вмешалась сваха.

Евдокся отломала от караваевая первая. Пожевала и строго спросила у Манечки, стоявшей молча, с опущенными в пол глазами:

– Сама пекла или сваха притащила?

– Сама.

– Да ты, Евдокия, бога побойся, – встала на её защиту Варвара, – она с двенадцати лет хлеба печёт, как без матери осталась. Что, аль в рот не лезет?

– Отчего же, каравай хорош, – похвалила Евдокся.

Все начали отламывать от караваевая и пробовать тёплый ещё хлеб.

– Повезло тебе, Митяй, – хлопал его по плечу слегка захмелевший Серёга, – рукодельница она у тебя.

– Ага, – приплясывал в своей красной рубахе Егорка, – это я их познакомил.

– А где жених-то? – оглядывая стоявших гурьбой и галдящих людей, спросила сваха.

Подтолкнув Дмитрия плечами, полдружки выдвинули его вперёд, к Манечке.

– Чем невесту порадуешь? – опять спросила сваха.

– Вот, сейчас, – жених, волнуясь, залез в корзину, которая стояла рядом с ним, и вынул оттуда новенькие, аккуратные полусапожки тёмно-коричневой кожи, на каблучках. – Вот тебе, – протянул их Манечке, – носи на здоровье, думаю, впору будут.

Поставив на стол обломанный каравай, та прижала их к груди, задохнувшись от радости, и робко сказала:

– Спасибо, Митя.

– Да ладно, чего там.

Родня и гости одобрительно загудели.

– Хороша обновка, девка век носить будет.

– Дак и сама стоит того.

– А что жениху невеста приготовила?

Манечке стоявшая позади сестра Дуся что-то быстро вложила в руку.

– Это, Митя, тебе, – она протянула белые шерстяные варежки, запястья которых были украшены коричневым узором, да такие же, белые с коричневым, носки, – это я сама связала.

– Умница ты у меня, – тут же примерив их на руки, счастливо улыбнулся Митяй.

– Вот и ладно, – обратила внимание на себя сваха громким голосом. – Думаю, пора молодых благословить, а уж потом всё остальное.

Она протянула Ивану Осиповичу приготовленную икону Божьей Матери в старинном серебряном окладе. Митяй и Манечка опустили на колени, рядом с Ашниным встала Евдокия.

– Пойдёшь ли ты, Маша, за Дмитрия?

– Благослови, батюшка.

– Любишь ли ты Машу, Митя? – спросила Евдокия сына.

– Люблю, матушка.

– Благословляю вас, дети мои, – перекрестил их иконой отец невесты и дал святой образ к их губам, который вместе они и поцеловали.

– За стол пожалуйте, – смахнул слезу растрогавшийся Осипыч.

Манечка с Митяем сели во главе стола, стали рассаживаться остальные, и пошло потом питьё да закусывание, обсуждение свадебных вопросов. С этим досиделись, считай, до полночи. Ударили по рукам и с песнями поехали по домам.

Две недели уже прошло с рукобитья. Митяй, задумавшись, неспешно ехал на серой двухгодовалой кобылке, по кличке Краля, по рыночной площади. Базарный день шёл к завершению. Снег скрипел у него под санями. Мысли его были не о вчерашней вечерке у Василисы, где они были с Манечкой. Дело уже было обычное, хотя и проходило не без интереса.

Манечка на посиделках, пока до танцев не дошло, вышивала ему рубашку, как было заведено после рукобития, поскольку она перешла в разряд официальной его невесты. Девушки наперебой расспрашивали, какое платье она себе готовит, кого из подруг приглашать собирается. В общем, девичий угол не скучал, тем более, вскоре предстояли свадьбы ещё двух девушек. Время такое наступило – в самый раз свадьбы играть. Через три дня Рождество, там Святки, а перед Масленицей – наилучшая пора для свадеб и разговения.

Глава 10

Граммофон и брудершафт

Шумно проходили ярмарки в Нижней Добринке. Продавали товары с прилавков, которые сооружались на два дня из досок, с крышей из парусины, а к воскресному вечеру опять разбирались. Ещё бойчее шла торговля в «обжорных» рядах, где стояли десятки баб с лукошками яиц, крынками сметаны, глечиками с ряженкой, корчагами мочёных ягод. Другие держали в руках пуховые шали и рукавицы. Сновали меж рядов и возов коробейники, торговавшие всяким мелочным товаром и материей. Вязанками лежали дубовые веники, связками – подшитые валенки.

Отдельно стояли мясные и рыбные ряды, невдалеке от них из корзин выглядывали живые куры и петухи, гуси, утки, а то и поросята.

В базарный день на рыночную площадь наезжало сто, а то и сто пятьдесят возов с товарами, а праздного люда возле них толкалось раза в три-четыре, пожалуй, больше. Ярмарка веселилась и играла, торговалась и пела песни, кудахтала, мычала, бляяла, смеялась и расцветивалась яркими платками, юбками, раскидываемой на прилавках материей и мотками шёлковых лент. Крутилась разборная карусель, откуда слышался задорно девичий смех. Но мысли Митяя – только о предстоящей свадьбе. Он и на площадь-то в воскресный день заехал, чтобы колечко Манечке купить. Ему самому – серебряное, широкое мужское кольцо – дядя Фёдор Турчонок подарил на прошлой неделе.

– Это, Димка, – сказал он, улыбаясь, – тебе на счастье от крёстного, теперь всю жизнь на руке носить будешь и меня вспоминать. Оно от напастей оберегает. Его ещё отец мой от француза получил, когда под Севастополем они оборону держали. Он тогда на раненого французского офицера наткнулся, тот без сознания в овражке лежал, и на себе его до лазарета дотащил. Пройди он мимо – помер бы француз.

Митяй обнял дядю и пообещал:

– Беречь буду его, дядя Фёдор, спасибо тебе за подарок.

Внутри кольца была надпись: «Dieu vous garde» – которая ничего обоим не говорила, но решили, что для венчания оно годится. Кольцо было Митяю чуть-чуть великовато, но с пальца не сваливалось, значит, к венчанию он был, считай, готов. Ему хотелось купить колечко и для Манечки.

Коробейники в деревне бывали, и лавка галантерейная купца Пичугина работала, но маленькие кольца были из меди, латуни или из мельхиора. Были и серебряные, но для Манечкиных пальчиков явно велики.

Он уже почти миновал торговые ряды и возы с разложенными товарами, как услышал знакомый бархатный голос... Елизавета Апполинарьевна, которую, за глаза, в деревне звали Комарихой, улыбалась ему:

– Вот встреча, так встреча. Никак, Дмитрий Петрович, нужного товару не найдёте?

– Хотел купить колечко Манечке, под венец идти, да ни одно не приглянулось.

– Вот незадача-то, – усмехнулась она, – это дело поправимое. Не завтра свадьба, выбери ещё... Да у меня дома с десяток есть, заходи – глядишь, какое и понравится, сговоримся. Заодно поможешь мне граммофон до дому доставить. Гляди, какую я красоту купила.

Митяй на возу увидел граммофон. Как же он был хорош, как сверкал полированными боками красного дерева! Труба у него волнистая, похожая на цветок, и с золотым отливом.

– Вот ещё четыре пластинки к нему. Теперь у меня не посиделки будут, а музыкальные вечера. Ты-то любишь пластинки слушать?

– Я и слышал-то разок, на ярмарке в прошлом году. Помню, мужик какой-то про блоху пел и всё хохотал, пьяный, наверно.

Женщина засмеялась:

– Эх, ты... это на всю Россию известный Шаляпин! Ну, давай, грузи к себе на сани.

Митяй осторожно поставил граммофон, рядом с граммофоном бочком села Комариха, придерживая его, а он пристроился на конце саней и слегка тронул гнедую кобылу Кралю вожжами. Она понеслась по улице, раскидывая комья снега.

Доехали скоро. Митяй соскочил с саней и хотел, было, ухватить граммофон, чтобы вручить владелице. Однако Комариха, проворно шмыгнув за калитку, отворила створки ворот и пригласила заехать, чтобы дорогую технику не повредить. Митяй подвёл Кралю к самому крыльцу и уже тогда взялся за полированные бока граммофона. Хозяйка шла впереди, отворяя перед ним двери. Граммофон был внесён и водружён на стол, а гость сконфуженно оглядывался на мокрые следы, оставленные валенками.

– Наследил я тут. Пойду, пожалуй.

– Что ты, гостенёк дорогой. Погоди маленько, музыку послушаем. Да не смотри ты на дверь. Лучше валенкиними.

Сама она быстро затёрла лужицы, которые остались от его следов. Митяй снял валенки и поставил возле печи, сам присел к столу, с любопытством разглядывая граммофон.

– Заграничной работы, немецкой, – с гордостью проговорила хозяйка, – а пластинки разные... Есть русские, одна немецкая, а вот американская, – протянула ему посмотреть.

Митяй взял пластинку в руки и улыбнулся. На белой круглой этикетке по центру была потешная картинка: точно такой же граммофон слушала белая собака с чёрными пятнами, подняв одно ухо. Буквы были непонятные, поэтому он вернул пластинку хозяйке.

– Войс хиз мастэр. По-русски: «Голос её хозяина», это, как бы, фирменный знак. А записана музыка к танцу «Аргентинское танго».

– А на других что?

На немецкой оказался вальс Штрауса «Сказки Венского леса», на выпущенных в Санкт-Петербурге – «Когда б имел золотые горы» и «Очи чёрные».

– Послушать хочешь?

– Конечно, хочу.

– Следи, что я буду делать.

Комариха поправила трубу, отвернув её в сторону, покрутила торчащую из полированного ящика позолоченную ручку, потом осторожно поставила пластинку на диск аппарата и сдвинула в сторону рычажок.

Звуки оркестра, исполнявшего прекрасную музыку Штрауса, зазвучали из золочёной трубы... Митяй, замерев, слушал. Это было совсем-совсем другое, не то, что деревенские гармошки и балалайки.

– Ну, что, Дмитрий Петрович, нравится? – очнулся он от голоса хозяйки, которая одета была уже не в строгое платье, а в жёлтый пеньюар с кружевами. Короткие рукава подчёркивали её холёные руки, приоткрытая полная грудь, с золотым крестиком в ложбинке, колыхалась под ладно скроенным одеянием.

– Очень. Только почему вы меня Дмитрием Петровичем называете? Все меня Митей зовут, друзья – Митяй...

– Так ты же, через две недели, женишься. А женатого мужчину, главного в доме, как ещё называть? Конечно, по отчеству. Давай теперь отметим мою покупку. Пятьдесят рублей за неё, всё-таки, отдала. Как думаешь, того стоит?..

«Ни хрена себе, – подумал Митяй, – мы всю свадьбу в тридцать целковых уложить думаем. Да за такие деньги двух коров можно купить». А вслух сказал:

– Конечно, вещь стоящая. Такого ни у кого в деревне нет.

– Попробую музыкальные вечера... Вот ещё пластинок прикуплю, тогда можно и обдумать. Я всё-таки Бестужевские курсы кончала, – говорила она, растягивая немного слова, как

делают люди, чем-то озабоченные. Она что-то искала в буфете. – А, вот, нашла. Осталось ещё немного... – Гранёную бутылку с вытянутым горлышком поставила на стол.

– Винный дом «Шустовъ и Ко», – вслух прочитал Митяй надпись полукругом на цветной этикетке. – Поставщик двора Российского Императорского двора. Коньякъ. Изготовлено во Франции, разлито в Санкт-Петербурге.

– Пробовал такое? – ласково спросила хозяйка.

– Откуда нам? Водку монопольную, и то один раз пробовал у дяди. А так – наливочки или настоечки – в праздник, бывает, пару рюмок и опрокинешь.

– Тем более, стоит попробовать, заодно и на «ты» перейдём.

– Это как? – выпучил глаза Митяй.

– Ты же просил себя «Дмитрием Петровичем» не называть, и я прошу звать меня на «ты».

– Так ведь не поймут же... Кто – вы, а кто – я? Да и старше вы, так не положено.

– Какой ты бирюк, право. Кто женщине на её возраст указывает?! А потом, мы никому не скажем, будем знать только ты и я. При всех, конечно, можешь величать меня по отчеству, а когда мы только вдвоём, зачем условности?

Митяй не нашёлся, что ответить. Хозяйка не теряла времени. Две высокие рюмки на фигурных ножках были налиты почти доверху. Одну она протянула Митяю, подойдя вплотную, вторую взяла сама, обвив его локоть своей полной ручкой.

– Пьём до дна, Митенька, – и начала пить маленькими глотками.

Митяй, зажмурившись, опрокинул в рот всё сразу. Действительно, это было новое ощущение. Коньяк оказался значительно крепче вина или наливочек, но гораздо приятнее, чем водка. В животе сразу стало горячо, и перехватило дыхание. Он с полминуты стоял с широко открытыми глазами, не зная, вдохнуть ему или выдохнуть.

– Едрёная штука, – выдавил он, – закусить бы.

Тут же рот ему заткнули поцелуем, да так, что он чуть не задохнулся. Когда Елизавета, наконец, отстранилась, он всё ещё стоял, слегка обалделый.

Сквозь звон, начавшийся в ушах, услышал:

– Хороша ли такая закуска?

– С ума сойти можно, – выдавил из себя Дмитрий.

Голова слегка кружилась, его начинало охватывать чувство блаженства.

– Какую пластинку поставить?

– Всё равно.

– Ну, тогда эту, – и через минуту в комнате зазвучали ритмичные, отрывистые звуки...

– Что это?

– Аргентинское танго, танец такой.

– Это где такое танцуют?

– Раньше в Аргентине танцевали, а теперь и в Североамериканских штатах, и в Европе, да и в Петербурге тоже. Хочешь, попробуем? – И, не дождавшись ответа, встала к нему вплотную. Заглянула в его синие глаза своими тёмными, как ночь. – Шаги нужно делать небольшие, скользкие. Через четыре шага – два делаешь на цыпочках, и вместе делаем поворот, – учила бывшая бестужевка, – при этом ты должен смотреть на меня.

Митяй краснел и топтался на месте, не сводя глаз с заветной ложбинки, внутри которой поблёскивал на цепочке золотой крестик. Неожиданно возникшее желание всё больше овладевало им.

– Вы меня простите. Не выходит у меня, у нас так не танцуют.

– Бог простит, а я тебе делаю замечание. Опять меня на «вы» назвал. Мы же пили за это, а ты всё забыл. Будешь наказан, но, видно, придётся ещё раз выпить на брудершафт.

– На что?

– На брудершафт, это немецкое слово. Означает, что мы друзья, и будем говорить друг другу только «ты». Скажи: «Лиза»...

При этом коньяк из гранёной бутылки, казалось, сам льётся в рюмку.

– Лиза, – как заговорённый, пробормотал Митяй.

Они опять обвили правые руки с рюмками и уже с чувством выпили ароматную жидкость. Она взяла из вазочки сладкую помадку и всунула ему в рот, а потом запечатала его своим жгучим поцелуем.

– Эй, Дмитрий, да ты целоваться-то толком не умеешь, – улыбнулась она с ехидцей. – Да не дуйся ты. Давай научу, сам потом благодарить будешь. Согласен?

Митяй, у которого голова кружилась всё больше, только утвердительно мотнул ею.

– Да поставь ты рюмку на стол, – уже нетерпеливо прошептала женщина, как ему уже казалось, завораживающей красоты.

Елизавета прильнула к нему и, притянув его кудрявую голову, впиалась долгим поцелуем. Он ощутил умелые губы женщины, которая почувствовала в нём настоящего мужика.

– Лиза, да что же это? – бормотал Митяй, шаря руками по её пеньюару.

– Ты что, Митенька, ещё женщины не пробовал? – догадливо поинтересовалась его сердечная наставница.

– Нет, – помотал головой он.

– Господи, а ещё жениться собирается. Ничего, это беда поправимая, – шептала она. – Выпей ещё полрюмки. Клянись, что не скажешь никому. Целуй крест, – и она подалась к нему всей грудью.

Пеньюар, казалось, сам распахнулся... Он припал губами к кресту.

Когда он очнулся, понял, что лежит, утопая в перине, в незнакомой комнате, а рядом бесстыдно раскинулась женщина.

– Господи, – перекрестился он, – прости грехи наши тяжкие.

– Правильно, – засмеялась ещё недавно возделенная женщина, – не согрешишь – не покаешься, а не покаешься – не спасёшься. Так что, не горюй.

Митяй вскочил с кровати, сверкающей при свете свечи никелированными шарами, сопя, судорожно натягивал на себя исподнее и домотканые полосатые штаны. Сейчас ему было стыдно смотреть в ту сторону, где лежала, разглядывая его, матёрая черноволосая красавица, опершись на одну руку.

– А ты ученик способный. Давно мою лужайку никто не пахал, а чтоб три раза подряд, без передыху, это мне удача выпала. Прямо, как конь племенной. Ох, бабы тебя любить будут...

– Зачем мне бабы? Я хочу, чтоб Манечка меня любила.

– Что ж, – усмехнулась Комариха, – и Манечка скоро бабой будет, и любить тебя будет, и проклинать, а ты меня теперь век не забудешь. Ведь женщина, с которой мужиком стал – не забудется никогда.

Митяй наскоро оделся, определив по стучащим в горнице ходикам, что прошло уже больше четырёх часов, как он переступил порог этого дома.

Колечко на память

Самые разные чувства переполняли Дмитрия Кирсанова. Одновременно – жгучий стыд за нарушенный уговор и жалость к Манечке, которая, ни о чём не догадываясь, вышивает ему свадебную рубашку. Был ещё восторг от познанной впервые женщины, да, ему казалось, такой роскошной, что и в столице многие позавидовали бы. Одно он понимал точно: нужно убираться отсюда как можно скорее. Уже в снях его настигла в наспех наброшенном пеньюаре Елизавета Апполинарьевна.

– погоди, Митя. Не попрощался даже. Возьми, вот, – и она что-то вложила в его ладонь.

– Что это? – поднёс он маленький предмет к глазам, при свете свечи, которую, в дрожащей от холода руке, держала простоволосая женщина. В его пальцах маленькими вспышками сверкал голубовато-розовый камень в небольшом перстеньке.

– Это для Манечки, – скороговоркой, задыхаясь от волнения, говорила она. – не нужно денег. Ради бога возьми, не отказывайся. Я виновата перед ней сильно. Это драгоценный камень, александрит называется. Это мой ей подарок, – грудь её судорожно вздымалась.

– А может, ей не подойдёт? – оторопело спросил Митяй.

– Подойдёт. Я её пальчики помню. А нет, колечко разруби, нажмёшь, оно по размеру и сойдётся. Ну, иди уже, – и впиалась долгим поцелуем ему в губы, дрожа всем телом.

Митяй с кольцом, зажатым в кулаке, выскочил во двор, где, переминаясь с ноги на ногу, вся покрытая инеем стояла, пофыркивая, Краля. Он сунул колечко в карман, взял её под уздцы и повёл к воротам, приоткрыл их, но не настезь. В образовавшийся проём вывел лошадь за ворота и тихо прикрыл створки за собой. Когда он сел в сани, скомандовав: «Ну, пошла!» – на него обрушился удар кнута, а лошадь, судя по тому, как отпрянула назад, была крепко схвачена за недоуздок.

– Ах, сволочи, ну, попомните меня! Грабить вздумали?..

Зимняя темень не позволяла, после света избы, толком рассмотреть противника. Он выпрыгнул из саней и тут же получил ещё три жгучих удара по спине и плечам. Наконец Митяй разглядел широкоплечего мужика, державшего левой рукой его лошадь, а правой кнут, и замахнулся, чтобы кулаком ударить варнака по голове. Но удар сзади, по ногам, где тулупчик их не закрывал, обрушился на него вместе со свистом кнута. Боль так обожгла, что было уже не до обидчика. Даже слёзы брызнули из глаз, и он невольно присел.

– Что ж вы делаете, душегубы? – сквозь слёзы крикнул он и повалился на снег от толчка ногой того, что держал лошадь.

– Это мы хотим спросить, что же ты, подлец, делаешь?

С изумлением узнал он голос старшего брата Григория.

– Гриша, ты? А там кто, Иван? Да за что ж вы меня так? Бьёте, как конокрада.

– Не был бы ты братом, покалечить бы надо. Скажи спасибо, у невесты братьёв нет.

Они бы точно так и сделали.

С этими словами оба старших брата сели в сани.

– Залезай, чтоб через всю деревню не бежать.

Митяй, с трясущимися после избиения ногами и руками, рухнул в сани, и они понеслись домой, к Кирсановым. Ворота были открыты, видно, их ждали. Лошадь влетела во двор без остановки. Братья вылезли из саней, вытащили Митяя и, слегка встряхнув, поволокли в избу, так что он едва успевал переступить ногами. В избе ждала их Евдокся.

– Что, привезли паршивца? – спросила она, хотя он и так, покачиваясь, стоял перед ней.

– Поймали ходока, где ты и предполагала.

– Что, Митенька, – грозно спросила мать, – ещё жениться не успел, уже налево потянуло?

– Быль молодцу не в укор, – буркнул Митяй и тут же получил от матери оплеуху.

– Ты о невесте подумал? А обо мне подумал? Ты до рукобיתья мог по деревне ходить и девок портить. А слово дал, не смей! Ты, что же, хочешь, чтобы мне, старухе, ворота дёгтем вымазали, как потаскухе?

– Такого ещё в деревне не было.

– А я и не хочу, чтоб было. Ещё раз узнаю – ноги переломаем мерзавцу.

– А что же дядя Вася Анучин, Егоркин отец? Он, говорят, не одну вдовушку утешил.

– Он уж женат был десять лет, а не так вот, перед свадьбой, слово нарушил, да у жены по женской части была болезнь. А потом, не хотела говорить, да скажу. Ты знаешь, что он не своей смертью помер?

– Откуда же мне знать?

– Вот и не болтай. У нас, знаешь, обычай какой? Потянуло на бл..ей, так отведай-ка плетей. Его, было дело, женин брат вместе со старшим сыном прихватили за околицей, когда он от зазнобы своей на рассвете возвращался. Колами ему всё нутро отбили. Он неделю кровью харкал, после ещё полгода пожил, сердешный, да и преставился. Царство ему небесное, прости, Господи, грехи наши тяжкие, – перекрестилась Евдокся. – А ты чего к Комарихе поперся? Сегодня вечерки не было у неё.

– Граммофон помог ей привезти, и она обещала колечко продать. Я искал для Манечки.

– Колечко где?

– Вот, – полез в карман Митяй, шмыгая носом, и достал кольцо.

Евдокся взяла его в руку и оценила, прищуриив один глаз.

– Это не стекло. Дорогое колечко она тебе продала, где ж ты деньги взял?

– Она не продала, а подарила.

– Однако старался ты крепко, – ухмыльнулась Евдокся. – Просто так такие подарки не дарят. Что делать думаешь?

– Так ведь это не мне, это Манечке она подарила.

– Вот ей и отдай. Да не вздумай рассказать, никогда в жизни, где и как ты его взял. Понял?

– Понял.

– И помни, что я тебе сказала. Я два раза не повторяю.

Митяй кивнул головой, чуть не падая от усталости и пережитого, и поплёлся спать.

Завтра свадьба

В доме Ашниных приготовления были почти завершены. Приданое, как все невесты на юге России, Манечка начала готовить с четырнадцати лет. Дело это неспешное, кропотливое, требующее немалой фантазии и значительного умения. Да ведь и вечерки для этого собирались.

У Ивана Осиповича была, конечно, одна забота... Дело в том, что свадьбу решено, как и водится в тех краях, играть в доме жениха, а уж второй день – у невестинной родни. По рукам, когда, били и все детали свадебные обсуждали, Евдокия прямо сказала:

– Ты, Осипыч, как хочешь, а я ведь борелевскими мельницами не владею и кладов серебряных до сих пор не находила. Так что, столы едой накрою – не стыдно будет всей родне отгулять, и вашей, и нашей. А вот выпивку мне не потянуть, так что, готовь в приданое деньжат. Второй день, оно конечно, твой. Да ведь сам знаешь – он, куда как, полегче – гостей едва ли четверть приходит.

Осипыч рублей двадцать пять в укладке имел, что извозами накопил, но ведь и зима-то только начиналась. Надо ж было думать не только, как свадьбу сыграть достойно, но и о тех дочерях, которые с ним эту зиму жить будут, а то, по три-четыре дня, и без него. Хотел он, было, к купцу Арефьеву, в долг просить, да хорошо, Маняша его успокоила. Ей Груня, двоюродная сестра, на сватанье успела золотой вложить в руку, в подарок преподнесла. Вот его и отдала невеста отцу. Деньги были немалые, их уже на всё хватало.

– Манечка, может, себе оставишь? – спрашивал её отец, – вы ведь жизнь только начинаете, на хозяйство пригодится.

– Не надо, батюшка, печалиться об этом. Я же не в бедный дом иду, не Христа ради просить. Зато вы в долгах не будете. А то, сам знаешь, у Арефьева занял червонец, через год верни полтора.

– Ну, спасибо тебе, – расцеловал её отец.

Часам к одиннадцати стали подходить подруги. В обычаях деревни было, что в доме невесты подруги на последний девичник собираются. Мать её должна их встретить и чаем угостить. Они невестины наряды разбирают, если нужно, подгоняют что-то, украшения прикидывают, к тому, к другому одеянию, песни венчальные поют – это вечер прощания с девичьей жизнью. У Манечки Ашниной матери уже шесть лет, как не было. В таком случае невеста идёт с подругами на кладбище и просит у покойницы благословения. Так и Манечка отправилась со своей крёстной матерью и четырьмя, самыми близкими, подружками на южный край деревни, где в кленовой роще, среди могил других деревенских, была и могила её матери.

Подошли к кованой оградке, очистили могилу от снега. Все стояли у оградки, а Манечка встала на колени у могильного холмика, перекрестилась и тихонько запела:

Что ж ты моя маменька, рано в путь собралась?

А я, горемычная, да без тебя осталась?..

Никогда не слышанные слова сами рождались в её голове и с плачем выплёскивались наружу. По покойникам в деревне испокон веку причитали. Были в Нижней Добринке две старушки, которых специально, за деньги, вопить приглашали по покойникам. Те знали старинные причитания, доставшиеся им от их бабок. А вот таких, как сейчас получались у Манечки, не знал никто.

Что ж ты всю свою красу

Растеряла, маменька,

Что ж ты к Богу-Господу
Собралась так раненько?
Если поутру роса
На траве по ямочкам —
Это плакали глаза
Нашей милой мамочки.
Мы ж твои три сироты,
А ты ушла на Небушко,
Чтоб с небесной высоты
Послать детишкам хлебушка.
Жизнь без мамы – лебеда,
А с мачехою боязно,
Без тебя совсем беда —
Холодно да горестно...

Так причитала и плакала Манечка, не задумываясь, – слова сами складывались в печальную песню. Видно, музыкальность была ею впитана с молоком покойницы-матери, которая певуньей было первой на Гореловском краю Нижней Добринки, а уж в частушках никто не мог её перепеть. Казалось, они из неё сами сыпались.

Когда Манечка поднялась с колен и вытерла слёзы, крёстная перекрестила её иконой Божьей Матери и благословила на венчание.

Домой шли все неспешно. Благо, и погода была, как по заказу. Светило солнышко, сверкал свежий снег, сосульки с крыш чуть подкапывали. Иван Осипович встретил их радушно.

– Ну, девицы, раздевайтесь, намёрзлись поди. Я вот самовар вздул для вас, только что закипел. Давай, крёстная, командуй, чтоб девчонки не скучали. В буфете наливочка да пряники, еда какая – в печи, а кое-что в погребке. А я не буду вам мешать. У вас свои разговоры. Мужу тут делать нечего, да и надо ещё похлопотать по завтрашней свадьбе. Не каждый день дочь замуж отдавать приходится.

Он накинул свой ямщицкий армяк, меховую шапку и вышел из избы. Девушки зашебетали. Захлопотали, стали накрывать на стол. Подошли ещё подружки, и начался последний девичник, со смехом и слезами, с песнями весёлыми и грустными. Всем верховодила крёстная, она же и баньку затопила. Подруги помогли Манечке воды из колодца натаскать, а потом под руки, с песнями, проводили её в парную. Там и вениками били, и водой ледяной отливали, и квасом холодным потчевали. Крёстная же зорко следила за происходящим. Подруги подругами, а не дай Бог, кто позавидует и заговорённую шпильку или булавку в рубашку невесте воткнёт, а ещё, того хуже, в косу приладит. Поминай, как звали тогда – семейное счастье.

В это время у дяди Фёдора Турчонка собрались на мальчишник парни. И розового сала, и пшеничного хлеба, квашеной капусты да огурцов было на столе вдоволь. Турчонок выставил на стол большую корчагу браги, и пошло веселье с разговорами.

Митяй хотел, было, у матери в доме вечерину устроить, да Евдокся их шуганула:

– Нечего мне тут грязь до полуночи носить и посуду пачкать. Завтра свадьба, а я только и буду, что у корыта стоять да тарелки с мисками за вами намывать.

Хорошо, положение спас дядя Фёдор, опять же, завтрашняя должность обязывала. Он назначен «тысяцким» и был начальником свадебного поезда. Да ещё много обязанностей было у «тысяцкого», скажем, покой молодых охранять до утра, когда проводят их в спаленку, невестину рубаху всей родне предьявлять и красный флаг поднимать. А не дай бог, невеста нечестная – в ложках для невестинной родни дырки вертеть, чтоб свой позор чувствовали.

Он свою избу предложил, так у него и собрались. Тут же, после кружки браги, и планы по завтрашнему свадебному поезду строить начали и должности делить. Первое дело – это

ведь «дружку» назначить. Егорка всем телом подался к Митяю, когда тот начал: «А в дружки я беру... – и плюхнулся на скамью, когда услышал конец, – Савку».

– Отчего же Савку, Митя? Это ведь мы с тобой на вечерки ходили, через меня ты и с Машей познакомился, да и родня мы, хоть и дальняя.

– Ты извини, Егор, – улыбнулся Митя, – в дружках быть – дело серьёзное, тут ведь и защиту молодых нужно организовать, и порядок среди гостей наводить, а Савка и постарше, и покрепче тебя будет. Да и основательнее он. Видал я его в деле на борелевской мельнице, где он мешки с мукой отгаскивает и рядом вяжет... а ещё на кулачках. Да ты не журишь, будет тебе должность. Назначаю тебя его помощником, будешь в «полудружках» ходить. Тоже должность – знай, не зевай. Доведётся тебе и венец надо мной держать, и на гармошке, на свадьбе, играть, и с девчонками плясать. Самая должность для тебя.

Насупившийся, было, Егорка улыбнулся и крепко обнял Митю.

– Я знал, что ты обо мне вспомнишь. Я за тебя в огонь и в воду. Только скажи – расшибусь, а всё сделаю.

Назначили в «верховую дружину» тех, кто побогаче и нескольких лошадей имел, которых бесхлопотно можно в свадебном поезде задействовать. Из тех же, кто охотой баловался, свои или отцовские ружья имели, назначили «стрельцов». Они пальбой из ружей должны были злую силу отгонять и создавать впечатление общей мощи. Так что, кроме родни, Митиных друзей, во главе с «тысяцким», было человек пятнадцать. По домам разошлись уже за полночь.

Золотой пятирублёвик

Девичник у Манечки был в самом разгаре. Девушки-подружки грели большой латунный самовар, который отец невесты привёз о прошлый год с Нижегородской ярмарки. В это время в дверь дома кто-то постучался. Песня смолкла, и все замерли в ожидании. В отворённую дверь вошла Груня, двоюродная Машина сестра.

– Извини, Машенька, что с опозданием, дел дома – невпроворот, но лучше поздно, чем никогда...

– Ой, Грунюшка, хорошо-то как, что пришла, – бросилась к ней на шею Маша. Они расцеловались, и молодая женщина сняла с себя цветастый платок и запорошённый снегом расшитый полушубок. Подарила она Манечке пять золотых рублей. Ей место тут же освободили, и она села на скамью рядом с невестой.

– Чего, девушки, грустим? Не на чужую сторону, Манечка, тебя выдаём, стоит ли печалиться? Жених у тебя видный, любит тебя. Мамаша у него, конечно, не сахар, но и не зверь какой. Да и Митя тебя в обиду не даст. Если что, ты у меня поспрошай, что и как. Я тебе всегда подскажу. Вытри-ка слёзы да налей мне наливочки, выпьем за твои девичьи проводы.

Девушки зашумели, задвигались. Кто наливочки себе налил, кто чаю из самовара. Выпили по рюмочке, Маша вытерла слёзы и заулыбалась.

– Спасибо за подарок, Грунюшка. Расходов-то больно много. Отец уж хотел кобылку продавать, чтоб взнос на свадьбу сделать, а тут и обойдёмся.

– Да что ты, Манечка, что говоришь-то? Если не я, кто вас выручит? Кто вам меня роднее? Ты лучше послушай, как мне этот золотой достался. Да и вам, девчата, интересно будет, не всё же песни грустные петь...

Дело было летом пятнадцатого года, в середине июля. Барин наш, Валерий Николаевич, приехал отдыхать в поместье, а с ним барыня с двумя детьми. Сын его, Аркадий – гимназист, восьмой класс как раз окончил, с сестрой Леночкой, тоже гимназисткой, только пятого класса, в этот раз вместе приехали. У детей летние вакации были. Ещё гувернёр с ними, Миرونч. Со станции их Сергей и Андрюха Варенцовы привезли.

Отдыхали они по-простому. Кухарничала у них Стеша, жена управляющего именем. Они Серёжу и наняли в конюхи, с его лошадьми. Платили хорошо, а работы немного. Это ведь не в извозе, чтобы целыми днями пропадать. С утра он со Стешей – на рынок, а управляющий, Василий Семёныч, всё вслед им глядит, глаз не сводит. Известно, догляд нужен. Дело молодое. Серёже ведь двадцать стукнуло. Стеше двадцать два, это ж боле, чем на двадцать годков, разницы-то у них с мужем было, вот он мрачный и ходил, пока они на рынок ездят. Вернутся, а он потом к жене всё приглядывается, как кот на мышь, всё глаза прищуривает. Да ладно, бог с ними, обоими. А я для продажи на рынок большую корзинку зелени каждое утро ношу. Вот и пришло мне в голову – чего на рынок ноги бить, когда до барской усадьбы рукой подать. Они на рынок как-то уехали, а я с корзинкой-то в усадьбу и подалась. Василию Семёнычу свою задумку и обсказала:

– Глянь, – говорю, – уважаемый. Ведь зелень моя не хуже той, что Стеша с рынка привезёт, а то, и посвежее будет, а цену я даже пониже могу взять. Вам, опять же, лошадей зря гонять не надо, а то, говорят, овёс всё дорожает. Али не ровён час, в дороге, что может случиться, греха не оберёшься...

Управляющий намёк мой сразу понял. Глазами сверкнул, но ничего не сказал.

А через четверть часа пара серых в яблоках лошадей, запряжённых в тарантас, подкатила. Раскрасневшаяся Стеша сидела рядом с Сергеем, с корзиной зелени и овощей на коленях. Муж её сразу выложил овощи на скамью и придиричиво осмотрел укроп и петрушку, лучок зелёный и огурцы, томаты да синенькие, морковь да фасоль. Каждый овощ, каждую травку он

с моими сравнивал. А я-то уж постаралась, чтоб у меня не хуже было. Всё только с грядочки, да родниковой водой обмыто. Потом про цену поинтересовался, а когда я против рыночной цены на две копейки скинула, вовсе посуровел и объявил своё решение:

– С завтрашнего дня на рынок за зеленью ездить не нужно. Груня всё принесёт. А ежели, мяса или рыбы, нужно будет купить, сам съезжу.

Тут и я голос подала:

– Понадобится, так я вам яичек свежих, али молочка там, а то сметанки – тут же поднесу. Только вы заранее скажите, к утру всё для вас, Василий Семёныч, будет, в самом наилучшем виде.

Стеша, аж, зубами скрипнула, со злости. Известное дело, у неё, кроме кухни да посуды, невелики развлекушки. На рынке хоть можно с товарками словом перекинуться, новости какие узнать. А тут сиди взаперти целыми днями. Но это уж её забота. Серёжа на меня тогда взглянул с улыбкой, а я домой засобиравалась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.